

Михаил Николаевич Загоскин

Кузьма Рощин

Повесть «Кузьма Рощин» впервые напечатана в «Библиотеке для чтения», 1836, т. XVI.

Содержание

I РАЗБОЙНИК	0004
II СУД БОЖИЙ	0107
КОММЕНТАРИИ	0147



Михаил Николаевич Загоскин
Кузьма Рощин

I РАЗБОЙНИК

Говорят, что нет ничего прекраснее и разнообразнее уединенных берегов реки Свири, которая, соединяя Онежское озеро с Ладогой, перерезывает поперек всю западную часть Олонецкой губернии. Я не думаю, однако ж, чтобы берега ее были живописнее нагорной стороны широкой Оки, особливо на пространстве тридцати или сорока верст в окрестностях одного уездного города,[1] которого название, без сомнения, отгадают читатели, если я скажу, что некогда, с обширным своим кругом, он составлял отдельное государство и был столицею царя, но только не православного. Лет восемьдесят тому назад верстах в восьми от этого, прежде бывшего престольного, града, на высокой горе, которая почти отвесно опускается до самой Оки, стоял обширный господский дом вовсе не красивой наружности — об этом старики наши мало думали, — но сложенный на прочном кирпичном фундаменте, из толстых сосновых

брусьев, с дощатою плотною кровлею, с огромными печами, с маленькими окнами — словом, дом, построенный так, как строили в старину свои дома богатые помещики, которые не знали английского слова comfortable [2], но любили жить тепло и спокойно, не прорубали больших итальянских окон, не имели понятия о цельных стеклах, не украшали лепными барельефами своих деревянных домов, но зато и не строили их из лучинок; пореже нашего кашляли и почаще оставляли дома в наследство своим внучатам.

В полуверсте от барского двора начинался, также по гористому берегу реки, длинный порядок крестьянских изб; он оканчивался большим лугом, посреди которого стояла обшитая тесом деревянная церковь; позади нее выстроены были белые избы для священника и всего причта. Деревенское кладбище было расположено поодаль от церкви, вниз по крутому скату горы, но два или три надгробных камня и несколько деревянных голубцов возвышались на самом церковном погосте. Тут было место вечного успокоения дворян Ильменевых, родовых помещиков села Зыкова и

прилежавших к нему двух деревень, что все вместе составляло душ до восьмисот и давало право Сергею Филипповичу Ильменеву, тогдашнему помещику Зыковской волости, полагать себя в числе первых дворян Ка.....го уезда.

В один ненастный вечер — это было в конце шестой недели Великого поста — Сергей Филиппович Ильменев, добрый старик лет шестидесяти, в широком калмыцком тулупе и красных сафьянных сапожках, сидел за небольшим дубовым столиком против своего соседа, мелкопоместного дворянина и пожилого вдовца, Ивана Тимофеевича Зарубкина; они играли в шахматы. В одном углу комнаты супруга хозяина, в белом пудреманте и преогромном накрахмаленном чепце, вязала чулок; подле нее, при свете двух сальных огарков, Машенька, миловидная девушка лет семнадцати, единственная дочь Ильменевых, вышивала в пальцах; позади нее, облокотясь на высокую спинку стула, стоял молодой видный офицер в драгунском мундире. Поодаль от них три краснощекие сенные девушки, с длинными косами, в мухояровых кофтах, си-

дели за круглыми подушками и плели кружева; у дверей переминался с ноги на ногу вооруженный свечными щипцами мальчик в байковом казакине; а в самом темном углу комнаты, прислонясь спиной к большой изразцовой печи с лежанкою, стоял человек лет тридцати пяти, высокого роста, с окладистой русой бородою. По платью можно было его принять за богатого мещанина или купца.

Если действительно наружные формы и выражение лица служат вывескою душевных наших качеств, то, конечно, лицо этого человека было исключением из общего правила. Приятная наружность, простодушная веселая улыбка и в то же время пара серых глаз, которые по временам сверкали из-под густых бровей, как сверкают глаза тигра, когда он крадется к своей добыче, — все это вместе составляло такую чудную смесь добра и зла, что сам красноречивый Лафатер,^[3] который с таким разнообразием описал и разгадал тысячи две человеческих физиономий, задумался бы, взглянув на лицо этого купца. Казалось, он смотрел с большим участием на играющих в шахматы, но лишь только замечал, что никто

не обращает на него внимания, беспокойный и быстрый взор его облетал всю комнату и вспыхивал, как порох, останавливаясь на небольшом железном сундуке, который помещался в переднем углу под образами.

— Как я погляжу на тебя, Владимир Иванович, — сказала драгунскому офицеру хозяйка дома, не переставая вязать свой чулок, — так, видит бог, и верить-то не хочется, чтоб такой бравый молодец был тот самый Володя, которого я десять лет тому назад за уши дирала. Да надолго ли ты нам достался, батюшка?

— Я думаю, Варвара Дмитриевна, — отвечал офицер, — что наш полк прогостит у вас до самой зимы. Моей роте приказано заготовить фуражу на шесть месяцев.

— А где ты, мой отец, квартируешь с твоими солдатами?

— Я живу у батюшки, а рота моя стоит в полуверсте от меня, в большом экономическом селении[4]... Как, бишь, его зовут?

— А, знаю, знаю! Село Воскресенское. Да это близехонько. Ахти-хти-хти!.. То-то горько будет твоему батюшке, когда ему придется опять с тобою расстаться!

— Да авось не расстанемся, матушка Варвара Дмитриевна, — сказал Зарубкин, подвинув вперед одну пешку. — Я хочу взять его в отставку; пора. Послужил царю-государю, будет с него. А то, пожалуй, уедет опять куда-нибудь лет на десять, так некому будет меня похоронить. Легко вымолвить: десять лет мы не видались; а последние три года, как началась война с пруссаком[5] и угнали их в эту Неметчину, так и слуху об нем вовсе не было. Эх, матушка, матушка! Я уж на ладан дышу, плох стал; где мне одному хозяйничать! То проглядишь, того недосмотришь...

— И, полно, Иван Тимофеевич! Да ты еще такой хозяин, что и нам бы не худо у тебя поучиться; мы только что концы с концами сводим, а ты, батюшка, живешь не по-нашему и копеечку зашибить умеешь; с каждым годом становишься богаче: то купишь деревеньку, то прихватишь землицы. Да вот и у нас почти две пустоши сторговал! Откуда что берется! Года три тому назад у тебя и двадцати душ не было, а теперь, чай, под сотню идет?

— Слава богу, матушка, найдем и побольше. Да в том-то и дело: чтоб все это прахом не

пошло, так надобно мне помощника, а Володе моему помощницу. Не правда ли, ваше благородие?.. А?.. Ну, что молчишь? Чай, скажешь, что дочка моего соседа, Фаддея Карпыча Побирашкина, тебе не приглянулась?

— Да я ее только однажды и видел, батюшка, — отвечал офицер с приметной досадою, — и вовсе не имею желания увидаться с нею в другой раз.

— Полно, полно, молодец! — продолжал Зарубкин, подвинув вперед еще одну шашку. — А об чем же ты по ночам вздыхать изволишь? Верите ль, матушка, с того самого часу, как он ее увидел, — а это был тот день, как я в первый раз привез его к вам, — он вовсе не тот стал: все задумывается; люди добрые спят, а он бродит как шальной по лесу; не позовешь обедать — так сам не пойдет; да и за обедом-то ест словно ребенок; вовсе хлеба лишился! А, кажется, всем здоров; и городской наш лекарь, Иван Фомич, то же говорит. Ну, что ж это значит?

— Да, да! — сказала хозяйка, взглянув с лукавою улыбкою на офицера. — По этим приметам и я начинаю думать... Что ты, Машень-

ка, все нагибаешься?

— Ничего, маменька! — отвечала девушка, не своя глаз с своей работы, — клубок упал.

— Да разве девка не могла поднять? Смотри, как ты покраснела; вся кровь в лицо бросилась.

— Что, Сергей Филиппович! Надумались ли, батюшка? — спросил Зарубкин хозяина, который несколько раз уже брался попеременно то за ту, то за другую шашку.[6]

— Эх, братец, не торопи! Разговаривай с женою, а мне думать не мешай!

— Ну, что, матушка? — продолжал Зарубкин, обращаясь снова к хозяйке. — Ведь я, точно, прав. Владимир у меня малый совестливый, стыдливый; от него правды, как от красной девушки, не скоро добьешься, а чему быть, тому не миновать.

— Да помилуйте, батюшка, — сказал с нетерпением драгунский офицер, — что вам вздумалось на меня клепать?

— Добро, добро, любезный! Разве я не видел, как ты на нее поглядывал?.. Потерпишь, потерпишь, да смолвишь когда-нибудь. И я так же в старину тосковал о моей покойнице;

точно так же таил от всех, что она пришлась мне больно по сердцу; и у меня так же сна не было, и кусок в горле останавливался; а уж тоска-то была какая, тоска! ах ты, господи боже мой! два раза из петли вынимали! зато как подослал сваху да пошло дело на лад, так, верите ль, чуть было не спился от радости, совсем ошалел! Подумаешь, как все на свете мудрено устроено! Вот, например, хоть эта любовь; курьезное дело! Любого молодца с ног срезет!

— Ох, эта пешка! — закричал Сергей Филиппович, потирая левой рукой лоб. — Ну, точно бельмо на глазу! Нельзя вывести коня, ладья стоит без дела... Ах, черт возьми!.. Уж добро бы шашка, а то эта дрянь, пешка проклятая!

— Да так-то всегда и бывает, Сергей Филиппович, — сказал Зарубкин, улыбаясь с довольным видом, — не бойся боярина, а бойся слуги. Не велик человек секретарь нашего воеводы, а все ему в пояс кланяются. Я прошлого года попытался не послать ему на именины барашка в бумажке, так он чуть меня совсем не погубил. Выдумал, окаянный, что будто бы

по зимам этот злодей Роцин держит у меня на хуторе свою разбойничью пристань, и если бы вы, мой благодетель и милостивец, не вступились в мое горе да не оправдали перед начальством, так меня бы, горемычного, как липку облупили. Я себе и думать не думаю; вдруг прислали ко мне сыщиков. Господи боже мой, как пошли они кур душить! А там нагрянула ко мне целая ватага подьячих из суда, принялись бражничать; давай им вина, наливки, того-сего; а уж как жрут-то проклятые, жрут!.. Ключница моя, Никитишна, подаст им, бывало, для фриштика жареного гуся да окорок ветчины или бараний бок; глядь-поглядь, одни косточки остались! Так, бедная, и всплеснет руками. Да что и говорить, вконец было разорили! Ну что, Сергей Филиппович, изволили пойти слоном?

— Пошел, братец.

— Напрасно, батюшка, напрасно! Шах королю.

— Как так?..

— Да так! Укрыться-то нечем: шах и мат.

— Подлинно шах и мат! — раздался грубоватый голос позади Зарубкина, — да только

вам, сударь, а не Сергею Филипповичу.

Зарубкин обернулся: позади него стоял купец.

— Полно, так ли, любезный? — сказал хозяин, взглянув с удивлением на купца. — Конечно, со стороны виднее, но, воля твоя...

— Посмотрите хорошенько.

— Смотреть-то я смотрю, да ничего путного не вижу.

— Попробуйте, сударь; извольте-ка заслонить вашего царя конем.[7]

— Так что ж? Он возьмет его ферзью.

— Некогда будет, Сергей Филиппович; ведь, тронув с места коня, вы откроете вашу ладью и скажете ему шах и мат.

— Ах, батюшка, подлинно так! — вскричал Ильменев. — Точно, точно! Его царю нельзя двинуться с места!.. Что, брат, Иван Тимофеевич, а!

— Пойдите, пойдите! Дайте подумать!

— Чего тут думать? Мат, да и только!

— Тьфу ты, пропасть! В самом деле! Ах, я дурак, дурак! Увязил ферзь, припер сам царя... слона не вывел!.. А игра-то какая была!

— Ай да купец, молодец! — сказал хозяин.

ин. — Да ты, видно, любезный, мастер в шахматы играть.

— Маракую, батюшка. У нас, в Астрахани, персиян довольно; я часто с ними игрывал; так около них и понаторел немного.

— А ты едешь из Астрахани?

— Да, сударь; я тамошний купец.

— И, верно, пробираешься в Москву?

— Статья может, и до Питера доеду.

— А что, любезный, не прогневайся, имени твоего и отчества не знаю...

— Алексей Артамонов, батюшка.

— А по прозванью?

— Выдыбаев.

— Послушай, Алексей Артамонович: ты едешь издалека, так, верно, и коней своих измучил, и сам умаялся; останься-ка у меня, отдохни порядком да разговейся вместе с нами; а там и с богом.

— Всенижайше благодарю, батюшка, за вашу ласку, — отвечал купец с низким поклоном.

— Ну что? Остаешься?

— И рад бы радостью, Сергей Филиппович, да никак нельзя: завтра надо чем свет опять в

дорогу. Будет, батюшка, и того, что вы, по вашей милости, изволили сегодня укрыть меня, дорожного человека, от темной ночи и непогоды.

— Ей, брат, останься! Мы будем с тобой в шахматы биться, а лошадки твои меж тем отдохнут. Ведь Христов день не за горами.

— Знаю, сударь, знаю; да об страстной мне надо быть неотменно в Муроме. Вот как я там все дела свои исправлю, так, если вашей милости угодно, к празднику опять вернусь сюда. В Москву торопиться нечего: мне надо быть там после Фоминой. Так, чем ехать муромскими лесами, я лучше поеду на Рязань. Да и крюку-то почти не будет; чай, от вашего поместья дней в пять легонько до нашей кормилицы белокаменной доедешь?

— Я и в третьи сутки поспеваю. Смотри же, любезный, коли так, так так! Милости просим! Приезжай нашим куличом разговеться. Э! да скажи-ка мне, братец, ты человек дорожный: что поговаривают об этом чертове сыне, разбойнике Кузьме Рощине? Ока давно уже прошла, а о нем что-то вовсе не слышно. Уж не поймали ли его где-нибудь?

— Дай-то господи! Теперь он, как слышно, тешится с своими молодцами по Волге и, говорят, близь Макарья[8] уж три села выжег.

— Вот что! Так он на Волгу перебрался? Что, видно, здесь жутко пришло?

— Да, батюшка; теперь по Оке стоят везде воинские команды, так он и бросился вниз по матушке по Волге, а шайка-то у него, как видно, пребольшая. Мне сказывали, что он на трех косных лодках разъезжает.

— Да что ему, прости господи, уж не сам ли сатана помогает? Два года по Оке разбойничал, теперь грабит на Волге, и все ему с рук сходит! Ну, дорого бы я дал, чтоб хоть раз взглянуть на этого Рощина.

— А я так и даром его видел, — сказал с улыбкою купец.

— Неужели, батюшка? — вскричала Варвара Дмитриевна. — Когда?

— Дней семь тому назад. Верстах в десяти от Нижнего я вместе с ним ужинал и ночевал на постоялом дворе.

— Как, вместе с Рощиным? — прервал Сергей Филиппович. — И ты остался цел?

— А вот, как видите. Он был один-одинехо-

нек, и я узнал уж после, кто со мною ужинал, — мне на другой день сказал об этом хозяин постоялого двора.

— Так чего же смотрел этот бездельник? Ему бы надобно было кликнуть народ да связать этого разбойника.

— Связать? Нет, батюшка, это легко вымолвить; не только хозяин постоялого двора, да и все село знало, что у них ночует Роцин, а, небось, никто не сунулся.

— Да неужели он так страшен, что к нему и приступить-то никто не смеет?

— А как бы вам сказать, сударь?.. Повыше меня целой головой. Вот господин офицер молодец собой, плечист, а тот вдвое плотнее будет. А рожа-то какая! Не приведи господи и во сне увидеть! Борода по пояс...

— И, верно, рыжая, — сказала робким голосом Варвара Дмитриевна.

— Нет, сударыня, как смоль черная.

— Да что за вздор! — прервал хозяин. — Ведь этот Роцин не Полкан же богатырь какой.[9] Ну, может ли статься, чтоб целое село не справилось с одним человеком?!

— Как не справиться! Да ведь мужички-то

себе на уме. Его схватят, так товарищи останутся, а в селе-то не останется ни кола ни двора. Слыхали ли вы, сударь, поговорку: как подпустят красного петуха, так запоешь и курицей.

— Правда, правда! Да чего же нижегородский воевода смотрит! У меня бы этот разбойник давным-давно сидел в остроге. Да милости просим, пускай пожалует ко мне в гости!

— Эх, батюшка, не напрашивайтесь! — перервал Зарубкин.

— А что ж? — продолжал хозяин. — Приму, угощу и в бане выпарю, да так, что он до новых веников не забудет. Ведь я не кто другой: свистну только, так у меня пятьдесят молодцов хоть сейчас под ружье станови. Конечно, ты, Иван Тимофеевич, дело другое, тебе как не бояться! У тебя что за дворня! Чай, душонок пять-шесть. А я двести душ держу на медицине, любезный!

— Так, сударь, так, вестимо: большому кораблю большое и плаванье; да ведь и он, батюшка, не сам-друг выходит на грабеж.

— Так что ж? Эка фигура! Чтоб я не справился с этой сволочью! Да у меня любой

псарь на пятерых разбойников пойдет.

— Эх, батюшка, не хвалитесь. Не ровен час. Знаете ли вы, какую шутку выкинул третьего года этот Роцин с князем Владимиром Павловичем Зашибаевым?

— А что такое? — спросил с любопытством Ильменев.

— И я об этом не слыхала, — сказала Варвара Дмитриевна. — Расскажи нам, батюшка.

Она положила на стол свой чулок. Машенька перестала вышивать. Все сдвинулись в кружок, поближе к Зарубкину, и он начал:

— Вот, изволите видеть: года два тому назад этот Роцин был вовсе не страшен; теперь у него целая шайка, а тогда он один-одинехонек промышлял по большим дорогам. Все окружные дворяне и вы, Сергей Филиппович, не раз изволили досадовать на местное начальство, которое не могло справиться с одним разбойником; но пуще всех кричал князь Владимир Павлович и так же, как вы, батюшка, хвалился перед всеми и в грош не ставил Роцина. «Да что это плут не вздумает меня ограбить! — сказал он однажды на отъезде поле. — Уж тогда бы я потешился! Да будь он

хоть семи пядей во лбу, а от меня бы не отвертелся; уж я бы привел его на аркане к нашему ротозею воеводе, у которого этот мошенник скоро голову с плеч украдет. И что он за разбойник! Так, воришка, шишимора!» Вот, видно, эти речи и дошли до Рощина. Однажды, около Петрова дня, — вы изволили быть тогда со всем вашим семейством в Москве, — князь Владимир Павлович собрался на богомолье в Ольгов-Успенский монастырь, что верст двадцать отсюда, на самой Оке. Рощин проведал об этом. Вы, верно, знаете, что его сиятельство изволит ездить всегда очень людно; так одному разбойнику нельзя остановить его на большой дороге. Прошу отгадать, что этот вражий сын, Рощин, придумал? Он отправился ранехонько вперед и догнал целую ватагу нищих, которые шли также в Успенский монастырь, всё чающие движения воды,[10] калеки, увечные старики и старухи. С этим народом ему не трудно было справиться; как пристрастил их ружьем да зыкнул «сарынь на кичку»[11], так все они, как овсяные снопы, и повалились ничком наземь. «Слушай, нищая братия! — заревел Рощин страшным

голосом. — Сейчас с дороги долой! ложись в кусты, да никто ни гугу; пошевелиться не смей! Вы, старухи, лежать смирно, а вы, старики и увечные, слушайте мой приказ: лишь только я закричу: „Гей, вы, сорванцы, вставай!“ — так вы все привстаньте немного и высуньте из-за кустов головы. Закричу: „Ложись!“ — мигом припадай опять в кусты. Да смотрите вы, убогие! если из вас кто без приказа пошевелится или голос подаст, так тут ему и карачун!» Как сказано, так и сделано. Нищая братия улеглась в кустах, а Роцин вышел на середину дороги и стал поджидать проезжих. Вот князь Владимир Павлович едет в своем четвероместном рыдване; впереди скачут вершники, на запятках стоят гусары, а позади, на двух тройках, везут всяких челядинцев; и все с оружием: кто с пистолетом, кто с саблею, кто с охотничьим ножом. «Стой!» — закричал Роцин, когда рыдван с ним поравнялся. Кучер, в которого он устави́л конец своей длинной винтовки, остановился, гусары спрыгнули с запяток, передовые вернулись назад, остальные холопы повыскакали из телег, окружили со всех сторон Роцина,

а князь высунулся из рыдвана и закричал: «Бейте этого мошенника в мою голову!» — «Ни с места! — заревел удалой разбойник. — Я Роцин; здесь вся моя шайка, и если кто из вас хоть руку отведет, хоть одним пальцем пошевелит, так я вас всех, как баранов, пере-режу... Смотрите! — продолжал он, показывая на кусты, — гей вы, сорванцы, вставай!» Господи боже мой! Так у княжеских холопей руки и опустились: из каждого куста высунулось голов по пяти, и бедному князю со страстей показалось, что в засаде лежит человек двести. «Ну, что, видите? — сказал Роцин. — Ложись, ребята! А вы, сарынь проклятая, стоять смирно, а не то как гаркну, так праху вашего не останется! Здравствуйте, батюшка, ваше сиятельство, — продолжал Роцин, отворяя дверцы рыдвана. — Вы изволили похвалиться, что приведете меня на аркане к нашему воеводе; вот я сам налицо, и веревку припас. Милости прошу, попытайтесь, батюшка!» Бедный князь хотел что-то сказать да поперхнулся первым словом. «Что, ваше сиятельство, — молвил Роцин, — иль язычок онемел? Слушай, князь! — прибавил он грозным

голосом. — Мне бы надобно было за твое хвастовство удавить тебя этой веревкою, да так уж и быть; счастлив ты, что у меня обычай первую вину прощать. Добро! выкладывай все, что у тебя есть в карманах; я знаю, ты всегда возишь с собою денежки!» Делать было нечего: князь отдал ему свои заветные часы, черепаховый рожок с табаком, в серебряной оправе, да пятьдесят крестовиков. Когда Роцин очистил совсем его карманы, он поклонился ему низехонько и сказал: «Прощай, князь, благодарствуй за твое жалованье; не забывай Кузьмы Роцина, да помни коренную русскую пословицу: не хвались, а прежде богу помолись! Что стали, ребята? Садись по местам. Ну, трогай лошадей! Да, чур, не оглядываться, а не то пошлю вдогонку такого свинцового гонца, что от него и шестериком не ускачешь». Проезжие помчались без оглядки, а Роцин юркнул в лес — да и был таков. Нищие пролежали в кустах до самой ночи. Вот один колченогий, посмелее других, выполз на большую дорогу и как увидел, что никого нет, закричал своим товарищам, и вся ватага поплелась опять вперед. На другой день — я сам

был тогда в монастыре — посмотрели бы вы, что делалось с князем, когда он узнал, на какую штуку поддел его этот сорванец Роцин. Он совсем взбеленился, принялся колотить своих челядинцев, перепорол десятка два нищих и до того кричал и бесновался, что его хотели было отчитывать.[12]

— В самом деле штука! — сказал Сергей Филиппович. — Ну, хитер он, разбойник! Да и то сказать, что за народ у этого князя Владимира Павловича: дворецкий — соня, людишки — дрянь! Да их не только разбойник с ружьем, а простой мужик с рогатиною на большой дороге ограбит. Я помню, однажды на отъезде поле князева собаки остановили волка. Как вы думаете? Ведь никто из его охотников приступить к нему не смел; и если бы не мой стремянный, так они наверное бы его упустили; кричат издалека: тю-лю-лю-лю-лю, а никто спешиться не хочет. Хуже баб! Ну вот, ни дать ни взять как людишки двоюродной моей сестры, Авдотьи Павловны Хледовой; да и те, чай, бойчее стали с тех пор, как побывали в переделке у Роцина. Ну, эта штука была также славная.

— А что это, сударь, за случай был такой? — спросил Зарубкин.

— Да такой-то случай, что когда сестра стала мне об этом рассказывать, так я, видит бог, расцеловал бы этого разбойника. Вот послушай, любезный, какая была оказия. Прошлого лета сестра поехала, из каширской деревни, повидаться с родственником своим, пронским воеводою. Она ехала в четырех повозках, и с нею человек десять людей, ребята все молодые и не с пустыми руками: у троих были даже ружья. Верстах в пятидесяти от города Пронска остановил их на большой дороге Роцин. Он был только сам-четверть; но лишь крикнул на сестриных людей, так эти плюгавцы тут же и повалились ему в ноги. Роцин велел их всех перевязать, а сам подошел к сестре, снял шапку и начал просить, как будто бы из милости, чтоб отдала ему все деньги, которые с нею были. Разумеется, сестра не стала с ним торговаться, и когда он обобрал ее кругом, так, видно, с испугу и, не понимая сама, что говорит, сказала: «Батюшка! что ты со мною сделал! ведь мне не с чем будет доехать до Пронска!» — «Да, боярыня, — отвечал

Рощин, — тебе еще раза два покормить придется, а кормы ныне дорогие. Нечего делать, на тебе, сердечная, рублевик займы». — «Да как же я тебе отдам?» — сказала сестра, которая все еще не могла порядком образумиться. «Все равно, матушка, отдай нищим; пусть молятся за Кузьму Рощина». «Теперь я поговорю с вами, слуги верные, — продолжал он совсем уже другим голосом, обращаясь к связанным людям. — Так-то вы, негодяи бережете вашу добрую боярыню! Экие болваны! Десять человек дали себя перевязать четверем разбойникам! А еще с ружьями! Вы только хлеб-то барский есть умеете, хамы проклятые, небось, никто из вас руки не отвел, чтоб оборонить вашу кормилицу. Да уж не изволь беспокоиться, матушка, — прибавил он, обращаясь опять к сестре, — я задам им добрую баню; не станут вперед выдавать тебя руками первому встречному разбойнику. Эй, молодцы! в плети их! Перебирай всех поодиночке! Да у меня, смотри, чур, не мирволить!» Что ж ты думаешь, братец; ведь в самом деле он так их всех отодрал, что они и теперь еще спины у себя почесывают!

— Ну, молодец, — вскричал Зарубкин, — и придет же в голову пересечь людей за то, что они ему без драки покорились? Ай да Роцин!

Вошел слуга и доложил, что кушанье готово.

— Жена, — сказал Сергей Филиппович, вынимая из камзольного кармана свои огромные серебряные часы, — что мы сегодня так рано ужинаем?.. Эге, да как же мы заболтались! — продолжал он, вставая, — девять часов, десятый. Иван Тимофеевич! Алексей Артамонович! милости прошу. Жена, веди Владимира Ивановича — ведь он твой гость, да смотри не больно с ним перемигивайся — я и так уж давно за вами примечаю.

После ужина все разошлись по своим комнатам. Зарубкину и купцу отвели ночлег в одном из флигелей дома, а драгунскому офицеру, по собственному его желанию, приготовили постель в садовой беседке, которая одной стороной обращена была к сосновой роще, а другой к господскому дому и соединялась с ним длинною, обсаженною липами, дорожкой. Во время ужина небо совершенно прочистилось; затих холодный северный ветер; и,

когда офицер вошел в сад, легкий южный ветерок повеял на него ароматом от сосновой роши и обдал своею весенней теплотою. Войдя в беседку, он сказал мальчику, который дожидался его со свечою, что не имеет никакой надобности в его услугах. Мальчик ушел, а офицер, оставшись один, вышел на крыльцо беседки. В господском доме светились еще кой-где огоньки. Вот они стали тухнуть понемногу. Через полчаса все окна потемнели, и только сквозь одно, задернутое белой гардиною, проникал слабый, едва заметный свет лампы, которая горела перед образами в спальне Варвары Дмитриевны Ильменевоы. Прошло еще около часу, и вдруг в самом крайнем окне замелькал яркий огонек. Офицер встрепенулся; как в минуту отчаянного боя, забилося его ретивое; он спрыгнул с крыльца и, пробираясь подле самых деревьев, пошел по дорожке, ведущей к дому. Ночь была темная, и не только под кровом ветвистых лип, но даже и на открытом месте нельзя было в двух шагах различать предметы; однако ж он робко посматривал вокруг себя и как будто прислушивался к собственным

шагам. Не дойдя до конца дорожки, он повернул в сторону, продрался сквозь куртину плодовых деревьев, перемял несколько кустов смородины, развел голыми руками два куста колючего крыжовника и вышел к самому дому; потом, прокравшись вдоль стены, подошел к открытому окну, против которого на небольшом столике стояла зажженная свеча.

— Вы ли это, Владимир Иванович? — раздался едва слышный шепот.

— Да, это я, — отвечал офицер прерывающимся от сильного чувства голосом.

— Тише, бога ради, тише!

Огонь погас, и через минуту послышался опять прежний шепот.

— Подойдите ближе к окну!.. Вот так! Боже мой, как на дворе светло!.. Ни одного облачка.

— Не бойтесь! Теперь уж поздно, ночь темная...

— О нет!.. Посмотрите, как эти звезды блестят... От них светло как днем! Ну, если садовник вас видел?

— Успокойтесь! Кругом все тихо, все спят.

— Ах, Владимир Иванович! я чувствую, что делаю очень дурно; но мне нужно было пере-

говорить с вами; мне кажется, я не пережила бы этой ночи, если б не высказала вам всего, что у меня на душе. Послушайте! Для чего сегодня вечером ваш батюшка говорил о дочери этого Побирашкина? Почему он думает, что она вам нравится?.. Где вы с ней виделись?.. Когда?.. Не правда ли, она очень хороша собою?..

— Что вы, бог с вами, Марья Сергеевна! Да она только что не урод.

— Нет, нет, она лучше меня; у нее большие черные глаза...

— Но можно ли их сравнить с вашими?

— Прекрасный рост...

— И одно плечо ниже другого.

— Так вы заметили...

— Да, это в глаза бросается!

— Но зато она так мила, так умна!

— Помилуйте! Двух слов не умеет сказать сряду.

— Неправда, она умней меня. Но только знайте, что она презлая.

— Какое мне до этого дело!

— Ваш батюшка, как видно, очень хочет, чтоб вы на ней женились.

— Может быть, да я не хочу.

— Но если он станет вас упрашивать, будет каждый день говорить одно и то же?

— Не беспокойтесь; я завтра же ему скажу, что терпеть не могу этой Побирашкиной.

— О, как вы облегчили мое сердце! — сказал Машенька, прижавши к груди свою руку. — Если б вы знали... если б ты знал, Владимир, что я чувствую!

Слезы прервали слова ее. Она отошла от окна и, рыдая, упала на колени пред иконой божией матери.

— Что вы, Марья Сергеевна? Что с вами? — вскричал с беспокойством офицер.

— Ничего, — сказала она, подойдя опять к окну и подавая Владимиру свою руку, которую он покрыл пламенными поцелуями. — Мне теперь так весело, так легко! — говорила Машенька, а между тем крупные слезы капали из-под ее густых ресниц.

Бедная девушка, доверчивая, как дитя, не думала о будущем; она была счастлива в эту минуту, и, как тихое весеннее утро, в которое и дождь и солнышко непрерывно сменяют друг друга, она и плакала и улыбалась почти

В одно время.

— Так вы не послушаетесь вашего батюшки, — шепнула она наконец, — не женитесь на ней?

— Ни за что на свете!

— Милый Владимир! Но если ваш батюшка потребует, чтоб вы непременно на ком-нибудь женились... В нашем соседстве так много молодых девушек...

— Я вам клянусь, что ни одна из них не будет моей женою.

— Я верю вам, Владимир Иванович! Но, несмотря на то... Ах, эта неизвестность так мучительна! Один раз легче умереть, чем умирать каждый день... Откройтесь во всем вашему батюшке; пусть он поговорит...

— С отцом вашим? — прервал Владимир. — И вы думаете, что он спокойно его выслушает? И вы надеетесь, что ваш отец, богатый родовой дворянин, отдаст за меня дочь свою?

— Да чем же вы хуже других? Вы офицер, ваш батюшка человек благородный...

— Но отец его... Нет, нет! Зачем себя обманывать? Не бывать этому никогда; не судил

нам господь в этой жизни быть счастливыми! Божий рай на небесах, Марья Сергеевна, а мы с вами живем на земле.

— Но для чего же вам отчаиваться? Я уверена, добрая матушка с радостью благословит меня, а бабушка... Да вы не знаете, как он меня любит! Он тысячу раз говорил, что отдаст меня только за того, кто будет мне по сердцу.

— О, в этом я уверен: он не станет принуждать вас! Но и вы также не пойдете замуж против его воли, а он никогда не согласится назвать меня своим сыном. Третьего дня, разговаривая с бабушкой, он сказал: «Видно, мне придется на старости перебраться в Москву; дочь у меня невеста, а во всей нашей округе нет по ней ни одного жениха». И лишь только бабушка намекнул ему о старшем сыне здешнего воеводы, как он закричит: «Что, что? Да не с ума ли ты сошел? Мой дед служил царю окольниковым, а прадед сидел в боярской думе, и я выдам дочь свою за внука какого-нибудь подьячего с приписью? Да по мне, она лучше век в девках оставайся! Господи боже мой! Чтоб я, последний в роде Ильменевых, породнился с каким-нибудь щелкопером?.. Нет, лю-

безный, ему и во сне это не привидится». Ну, Марья Сергеевна, неужели и после этого вы можете надеяться?

— А почему знать? Бог милостив. Вы очень нравитесь батюшке. Матушка вас любит; а сверх того, если вы не имеете никакой надежды, так чего же вам и бояться? Ведь уж хуже этого быть не может.

— А чего боится приговоренный к смерти преступник? — сказал мрачным голосом Владимир. — Он знает, что гибель его неизбежна, а, если б мог, отдалил бы хоть на полминуты казнь свою. Неужели вы думаете, что нам позволят видеться и тогда, когда любовь наша не будет уже тайною? Не видеть, не быть подле вас, не говорить с вами без свидетелей! Да разве такая жизнь лучше смерти? Ах, Марья Сергеевна, не мешайте мне пожить еще хоть несколько дней!

— Нет, Владимир Иванович, эти тайные свидания должны кончиться. Я люблю вас, вы это знаете; но вы честный, благородный человек и, верно, не захотите сами, чтобы та, которая желала навсегда принадлежать вам, была недостойна уважения вашего. Если вы

не можете быть моим мужем, то мы должны непременно расстаться.

— Расстаться! — повторил с отчаянием Владимир.

— Да! это необходимо, — продолжала сквозь слезы, но твердым голосом Машенька. — Я не могу быть с вами вместе и стараться убежать вас. О, Владимир! будьте моим защитником против самих себя! Если ваши чувства совершенно сходны с моими, то я не требую от вас невозможного, не хочу, чтоб вы меня забыли; но расстаться мы должны непременно.

— Так вы желаете, чтобы жизнь мне опостылела, чтоб я стал проклинать минуту, в которую увидел вас в первый раз?

— Нет, Владимир Иванович, — сказала тихим голосом Машенька, — я хочу, чтоб мы и в несчастии нашем имели какое-нибудь утешение. Если мы расстанемся теперь, то можем не краснея вспоминать друг о друге. Вам не в чем будет упрекать себя, а мне можно будет молиться о вас с надеждою, что господь услышит мою молитву. Я сказала все. Делайте что вам угодно; только знайте, что я или в по-

следний раз вижусь с вами без свидетелей, или навсегда буду принадлежать вам... Но что это?.. Мне кажется, сюда идут... Боже мой!.. Так точно... Ах, Владимир Иванович, если кто-нибудь нас слышал?.. Уйдите! ради бога, уйдите скорее!

Машенька затворила окно, Владимир спрятался позади большого рябинового куста; шаги приближались, кто-то говорил с большим жаром, но так тихо, что Владимир не мог понять ни одного слова. Вдруг разговаривающие повертели в сторону и вышли из куртины на небольшую поляну. Их было двое. Несмотря на темноту, Владимир не мог ошибиться и принять их за караульщиков; он заметил также, что один из них по своему видному росту весьма походил на проезжего купца, с которым он ужинал. В другое время эта ночная прогулка возбудила бы его любопытство, но теперь ему было не до того, и когда эти полуночники, продолжая разговаривать между собою, исчезли за деревьями, он вышел опять на дорожку и, наблюдая по-прежнему всю возможную осторожность, добрался наконец до своей беседки.

По-видимому, не нужно сказывать читателям, что Владимир не мог заснуть ни на минуту. Последние слова Машеньки беспрестанно раздавались в ушах его, и когда ему приходило на мысль, что через несколько часов участь его должна навсегда решиться, сердце в нем сжималось и замирало от ужаса. По временам слабый луч надежды проникал в его растерзанную душу; но почти в то же время жестокий, неумолимый рассудок обдавал ее холодом; ему казалось, что какой-то неотвязчивый злой дух шептал над его изголовьем: «Безумный! и ты можешь надеяться, ты, сын бедного помещика и внук отпущенника, что богатый и родовой боярин выдаст за тебя единородную дочь свою! Конечно, он любит ее и, верно, желает видеть счастливою; но эта барская спесь!.. Нет! ты напрасно стараешься себя обманывать. Ты хочешь испытать своего счастья? Испытай! Но знай заранее, тебя ждет не радость, а горе и позор, не ласковый привет, а презрение и обидные насмешки». Несколько раз Владимир решался не говорить ничего отцу своему и упросить начальство перевести его роту куда-нибудь

подалее за Рязань; но, несмотря на это, кончил тем, что вскочил чем свет с постели и побежал к Ивану Тимофеевичу, который ночевал в одном из флигелей дома. Он так перепугал спросонья бедного старика, что тот не мог долго понять, о чем идет дело. Владимир объявил отцу, что он должен непременно сватать за него дочь хозяина, и, не дав ему образумиться, прибавил, что если просьба его не будет исполнена, то он сам подымет на себя руки или, по крайней мере, уйдет служить за тридевять земель в тридесятое государство и никогда уже не воротится на свою родину.

— Я сейчас отправлюсь домой, — продолжал он, — и стану там дожидаться решения моей участи; какой бы ответ вы ни получили, поспешите меня уведомить. Я солдат и привык сносить без ропота все, что ни пошлет на меня господь; но неизвестность... Ах, батюшка, это не земное мучение, не пытка, а мука адская, с которой ничто сравниться не может!

Владимир обнял отца, побежал на конюшню, оседлал персидского жеребца своего и помчался вихрем вон из села Зыкова.

Было уже около шести часов утра. Варвара Дмитриевна Ильменева почивала еще крепким сном; но супруг ее давно обошел все деревенские свои заведения, побывал на псарне; завернул на конный двор; надавал тузов одному лентяю конюху, который не продирает еще глаз; покричал с своим управителем и, выпив добрую чарку домашней настойки, трудился около жирного балыка и отличной паюсной икры, которую накануне получил из Астрахани. В эту-то самую интересную минуту двери потихоньку растворились, и Иван Тимофеевич Зарубкин вошел на цыпочках в столовую. Багровый нос его казался не столь красным, как обыкновенно, волосы были растрепаны, левая рука почтительно засунута за камзол, а правую он перебирал машинально свои кисейные манжеты.

— А, сосед любезный, — закричал Ильменев, — милости просим! Я думал, что ты еще спишь богатырским сном, так же как и моя барыня. Ну-ка, Иван Тимофеевич, попробуй икорки; прямо из Астрахани получил от приятеля. Уж нечего сказать, икра!.. Диво! и настойка хоть куда. Налей себе чарку да посма-

куй хорошенько, так скажешь спасибо моей Варваре Дмитриевне; что и говорить, мастерица!.. Да подойди, братец! что ты, как пень, стоишь на одном месте? Закуси чего-нибудь.

— Всепокорнейше вас благодарю, — сказал Зарубкин, перегнувшись почти вдвое. — Кушайте себе, батюшка, на здоровье, а мне есть не хочется.

— Так ты, видно, брат, уж позавтракал?

— Никак нет, сударь.

— Так что ж ты не кушаешь?.. Да кой прах! что это тебя коробит? Здоров ли ты, братец?

— Телом, славу богу; да на сердце-то у меня, батюшка...

— И, полно, любезный! Хвати-ка добрую красоулю, так и на сердце легко будет. Прошу покорно!

— Нет, Сергей Филиппович, не трапезою душа живится; конечно, и я чарочку-другую в день выпью ради стомаха, но теперь мне во все не до питья, батюшка.

— Кой черт! Да что с тобой случилось?

Зарубкин всплеснул руками и так жалко искривил рожу, что Ильменев повторил с беспокойством свой вопрос.

— Ох, батюшка, — сказал Зарубкин, — недаром говорят: дети радость, дети и горе! А у кого всего-навсего одно только детище...

— И, любезный! и мало, и много детей — все равно. Ведь и десять сыновей как десять пальцев: любой отрежь, все больно. Да что тебе вздумалось говорить об этом? Уж не занемог ли твой Владимир?

— Хуже, Сергей Филиппович, хуже.

— Как хуже?

— Да, батюшка; мой Володя... О, господи, и выговорить страшно!.. С ума сошел.

— Как так? — вскричал Ильменев, вскочив со стула.

— Совсем рехнулся; того и гляжу, что сам на себя руку подымет.

— Что ты говоришь?

— Наладил одно: хочу, батюшка, жениться, да и только.

— Так вот что! — сказал Ильменев, садясь на прежнее место. — Ах ты, шут нарядный!.. Перепугал меня до смерти! Эко диво, подумаешь: малому двадцать семь лет, а он жениться захотел!

— Да знаете ли на ком, батюшка?

— Неужели, в самом деле, на дочери этого жидомора Побирашкина?

— И, сударь, да об чем бы мне тогда горевать? Сегодня посватался, а завтра и сговор. Нет, Сергей Филиппович, Володя мой влюблен по уши, да только не в нее.

— Так что ж? и всякая другая девушка за него пойдет. Ведь нынче, любезный, женихи-то в сапожках ходят, а невестами хоть пруд пруди.

— Так, батюшка, так! да не равна невеста.

— И, полно, братец! такой молодец, как твой Владимир, кому не жених!

Лицо Зарубкина просияло; побледневший нос покрылся снова обычным румянцем, и он, целуя в плечо Ильменева, сказал радостным голосом:

— Ах ты, отец мой родной! Дай бог тебе много лет здравствовать! Утешь тебя господь, как ты утешил меня на старости!

— Что ты, что ты? — прервал Ильменев. — Да разве я в первый раз это говорю? Вестимо, такого жениха, как твой Владимир, никто не забракует.

— В самом деле, батюшка?

— Конечно, братец; за него пойдет девушка и не Побирашкиной чета.

— Ну, а если б он, сударь, — продолжал Зарубкин, говоря с расстановкою и не смея глядеть прямо в глаза Ильменеву, — примером будучи сказать, вздумал посвататься, то есть влюбился... сиречь, пожелал бы себе в сожительницы... Не ради чего-нибудь другого прочего!.. Боже сохрани, станет он о приданом думать!.. Душ триста, четыреста, так и за глаза; а там воля господня... Два века никто не живет... Да и то сказать, дай бог вам прожить несчетные годы; не им, так деткам их станется.

— Да что ты за околесную несешь? — сказал Ильменев, поглядев с удивлением на Зарубкина. — Каким детям достанется? Что достанется?.. Тьфу, черт возьми! Да на ком же ты хочешь женить своего сына?

— Не я, Сергей Филиппович, видит бог, не я! Когда бы не он, так мне бы это и во сне не приснилось, и если б не ваши ласковые речи, язык бы не повернулся сказать, что мой Володя желает вступить в законный брак...

Тут Иван Тимофеевич заикнулся, да и бы-

ло отчего: глаза его встретились с глазами Ильменева, и он прочел в них что-то очень неласковое.

— Желает вступить в законный брак, — повторил Сергей Филиппович, оттолкнув от себя тарелку с икрой.

— Да, батюшка! — продолжал робким голосом Зарубкин, — мой сын желает... вступить в законный брак...

— С кем? — заревел хозяин.

У бедного свата ноги подкосились, и он промолвил, захлебываясь на каждом слове:

— С предостойною... прекрасною... и многолюбезною дочкою вашею...

Ильменев вскочил со стула; глаза у него засверкали.

— С моею дочерью! — вскричал он, ударив так сильно по столу кулаком, что глиняная перечница слетела на пол и разбилась вдребезги.

— С моею дочерью! — повторил он, сделав шаг вперед.

Зарубкин попятился назад; но, заметив, что в передней никого не было, остался в комнате. Между тем гневный взгляд хозяина

смягчился.

— Скажи мне, братец, — спросил он наконец почти хладнокровно, — когда ты успел наклюкаться?

— Кто, я?.. Помилуйте! маковой росинки во рту не было!

— Пошел, пошел, пропись!.. Ах ты, полумный старичишка! Да как тебе в голову пришло, что я выдам мою Машеньку за твоего сына? Уж не потому ли, что он официи добился?.. Велико дело!.. Драгунский офицер!.. Прошу покорно, с чем изволил подъехать! Куда в родню нарохтитесь! Да ты, видно, вовсе забыл, что твой отец служил псарем у покойного моего батюшки?

— Не извольте гневаться, ваше высокородие. Видит бог, я этому не причиною; я и сам толковал Володе: «Что ты, глупый, затеял? Ну, по плечу ли тебе такая невеста? Что ты страмиться-то хочешь? перекрестись!» Уж я говорил, говорил! что толку: слышать не хочет, и, поверите ль, батюшка, как шальной, вот так на стену и лезет.

— Чтоб духу его не было в моем доме! Слышишь?

— Да он, сударь, и так чем свет ускакал к себе в деревню.

— Ага! догадался! Видно, брат, он умней тебя.

— Эх, батюшка, Сергей Филиппович, когда бы вы сами не польстили меня...

— Польстил? Чем?..

— Да как же! Не вы ли изволили говорить, что моего сына никто не забракует!

— Да я то же самое сказал третьего дня сыну моего старосты, Андрюшке Рыжему: так и ему бы надо посвататься за мою дочь? Дурачина! Знай сверчок свой шесток, а залетит ворона в высокие хоромы, так ей и шею свернут. Покойный мой батюшка — дай бог ему царство небесное! — велел бы тебя дубьем с двора проводить, а может статься, и на конюшне выдрать; я не в него, посмеюсь над этим сватовством с женою да с дочерью...

— Батюшка! — перервал Зарубкин, сложив униженно руки, — не извольте только гневаться, так я всю правду скажу: ведь мой Володя не смел бы и посвататься за вашу дочь, когда бы не было на это собственной ее воли.

— Как?! — закричал Ильменев. — Возмож-

но ли?! Дочь моя осмелилась?!. Без моего ведома?!. Ты лжешь! Быть не может!

В эту самую минуту двери гостиной растворились, и Машенька вошла в столовую. Она была бледна, как смерть; грудь ее сильно волновалась, но покрасневшие от слез глаза выражали не страх, а какую-то твердую решимость и даже спокойствие.

— Ты здесь, мой друг?! — вскричал Ильменев. — Поди сюда. Как ты думаешь, что говорит этот старый дуралей? Он уверяет меня, что сын его, с твоего согласия и воли, осмелился за тебя свататься.

— Это правда, батюшка, — сказала Машенька.

Румяное лицо Сергея Филипповича помертвело; он остолбенел и, молча, как безумный, устремил свои неподвижные глаза на бедную девушку.

— Как?.. Что? — прошептал он наконец, задыхаясь от гнева.

— Да, батюшка, это правда, — повторила Машенька кротким, но твердым голосом.

— Ну вот, извольте видеть? — сказал Зарубкин.

— Молчи! — закричал Ильменев так грозно, что Иван Тимофеевич с одного прыжка очутился в передней. — Вон отсюда, холоп! Вон! Эй, люди, люди!..

Зарубкин исчез.

Минут пять продолжалось молчание. С видом глубочайшей покорности, но в то же время и с утешительным чувством подсудимого, которого обвиняет все, кроме собственной совести, смотрела Машенька на разгневанного отца. Ильменев, не говоря ни слова, ходил скорыми шагами взад и вперед по комнате; румянец то исчезал, то выступал багровыми пятнами на бледном лице его; губы дрожали; казалось, он употреблял все силы, чтобы удержать первый порыв своего гнева. Вдруг Ильменев остановился против своей дочери, ласково взял ее за руку и почти умоляющим голосом сказал:

— Машенька! друг мой! не правда ли, ведь ты смеялась?.. Ты шутила над этим полоумным стариком?

Слезы брызнули из глаз бедной девушки. Этот ласковый голос, этот нежный взгляд отца поразили ее сильнее, чем гнев и все упре-

ки, к которым она приготовилась.

— Ты плачешь?! — вскричал Ильменев. — Так это правда? Так ты осмелилась?..

— Выслушайте меня, батюшка! — сказала Машенька, которой суровый вид отца возвратил всю прежнюю твердость. — Я никогда не выступлю из вашей воли, и без родительского благословения никто не поведет меня к венцу; но я не хочу скрывать от вас ничего. Да, батюшка, я люблю Владимира Ивановича, и если не могу быть его женою, то останусь навсегда с вами. Вы, верно, не захотите, чтобы дочь ваша, любя одного, сказала другому пред престолом Божиим, что желает вечно принадлежать ему. Людей можно обмануть, батюшка, но бога не обманешь.

— Машенька! друг мой! — сказал Ильменев, устремив на дочь свою взоры, исполненные удивления, — что сделалось с тобою?!. Куда девался твой девичий стыд?!. И кто дал тебе волю располагать собой? Дочь влюбилась без ведома отца и матери!.. Девчонка говорит, что не выйдет замуж ни за кого, потому что ее не выдают за офицера, у которого отец с приписью подьячий, а дед был псарем!

Слушай, дочь: если ты не выкинешь этой дурри из головы, если я услышу когда-нибудь, что ты назовешь по имени этого негодяя, то я навсегда отрекусь от тебя; забуду, что у меня была дочь, и разве только умирая вспомню об этом, но не для того, чтоб оставить ей мое благословение. Нет! я унесу его с собой в могилу...

— Батюшка! — вскричала с отчаянием бедная девушка.

— Да, да! — продолжал Ильменев час от часу с большим жаром, — если и на том свете отец может благословлять детей своих, так не жди этого благословения, не приходи плакать над моей могилою; ты ничем его не вымолишь!

Машенька хотела что-то сказать, хотела подойти к отцу, но ноги ее подкосились, и она упала без чувств на землю.

— Дочь моя, дочь моя! — закричал Ильменев, бросившись к ней на помощь, — что с тобой, дитя мое?.. Она без памяти!.. Эй, кто-нибудь!.. Девка, девка!.. Бедняжка, что ты наделала с своей головою!.. Проклятый Зарубкин!.. Уж попадешься же ты мне когда-нибудь...

Возьмите вашу барышню, — продолжал он, обращаясь к горничным девушкам, которые вбежали в столовую, — уложите ее на постель и позовите ко мне Варвару Дмитриевну.

Через несколько минут вошла жена Ильменаева.

— Поди сюда, матушка! — сказал он, идя к ней навстречу. — Так-то ты смотришь за своею дочерью? Знаешь ли ты?..

— Ох, батюшка Сергей Филиппович, все знаю! Машенька сегодня поутру во всем мне призналась!

— Ну, что скажешь, сударыня?

— Что тут сказать! Наслал господь горе, так делать нечего.

— Как делать нечего?

— Да не гневайся, батюшка! Мы все люди, все человеки, все под богом ходим. Конечно, Владимир Ивано-вич жених не богатый, не чиновный, да уж если такая судьба нашей Машеньке...

— Судьба! — повторил Ильменев. — Ах ты, глупая! Да с чего ты это вздумала? Прошу покорно!.. Судьба!.. Так, по-твоему, первый пострел, который приглянется твоей дочери, ей

и жених? Судьба! А мы-то что с тобою? Что я, отчим, что ль, а ты мачеха?

— Так, батюшка Сергей Филиппович, так! да ведь суженого-то конем не объедешь, и чему быть, тому не миновать.

— Чтоб я породнился с этим отпущенником! Чтоб меня, родового дворянина, называли сватом какие-нибудь подьячие!..

— Помилуй, Сергей Филиппович! да ведь у Владимира Ивановича, кроме старика отца, никого родных нет.

— Право?.. А не хочешь ли, я в моей дворне найду ему внучатых братцев?! Полно вздор говорить, жена! Пока я жив, этому не быть. Слышишь ли, не бывать! И если кто-нибудь вперед мне об этом заикнется...

— А если, батюшка, дочь наша зачахнет с горя? Посмотрел бы ты на нее! Господи боже мой!.. Словно река льется.

— Вздор, сударыня, вздор! Девичьи слезы — роса утренняя; проглянет солнышко — росы как не бывало. Подари ей свои изумрудные сережки или сделай новое обьяринное платье, так дело и с концом!

— Смотри, батюшка, чтоб не пришлось

вместо объяринного платья сшить ей белый саван! Ведь ты не знаешь, как она любит Владимира Ивановича.

— Полно, матушка. Скоро полюбила, так скоро и разлюбит.

— Не говори так, Сергей Филиппович! Сохрани господь и помилуй, а уж если, божьим попущением, эта лиходейка любовь заберется в девичье сердце, так ее ничем не выживешь. Ведь любовь, батюшка, на взгляд и красна и презрядна, как махровый цвет; а на самом-то деле и горька и цепка, как репейник.

— Эге! да это целиком из гистории об Аленкурте и Флориде!.. Вот то-то и есть! Начитались вы обе с дочерью этих дурацких книг, набили вздором свои головы. Да и чему быть путному! Вчера я приказал Малашке принести мне из спальни календарь; гляжу, тащит ко мне... Что такое?.. «Повесть о княжне Жеване», дочери какого-то мексиканского царя Фирдедондака! Господи боже мой! Вот до чего довела нас эта грамота! Как, дескать, русской барышне не уметь читать, когда в Неметчине простые меццанки читают?.. Читают! А на что? Знали бы да знали свои пальцы, так не

пошла бы эта заморская дурь в голову; не стали бы без ведома отца и матери сами выбирать себе женихов и влюбляться в каждого встречного и поперечного. Да что об этом говорить! Слушай, жена, я люблю дочь не меньше тебя, но никогда не соглашусь на этот срам: не бывать внуку псаля моим сыном!

— Но подумай, батюшка!

— Нечего тут думать. Как пройдет эта дурь, так сама скажет мне спасибо.

— А если не пройдет, Сергей Филиппович!

— Да что ж ты, в самом деле! — закричал грозным голосом Ильменев. — Иль учить меня вздумала? Слышишь ли, чтоб об этом вперед и речи не было!

— Воля твоя, Сергей Филиппович, — сказала робким голосом покорная жена, — только смотри, чтоб не пришлось после пенять на самих себя.

— Добро, добро! Умны вы с дочкой-то больно стали! С тех пор, как побывали со мной в Питере да наслушались там всяких басурманских речей, так с вами и ладу нет. И то сказать: я сам дурак! зачем пускал к себе в дом эту книжную чуму, этого красная Тредья-

ковского?[13] Ведь он-то всему злу и корень. Святочное пугало! вспомнить не могу! придет, бывало, в своем дурацком парике, торчит, как рожон; под мышкою книга, в кармане тетрадь, начнет говорить виршами и занесет такую околесную, что сам черт его не разберет.

— Напрасно, батюшка! Василий Кириллович Тредьяковский человек очень хороший.

— Хороший! А кто приучил вас к этим вздорным книгам? Бывало, то принесет к вам какую-то героическую повесть «Аргениду», [14] то разные стиходействия да всякие другие лихие болести. Из меня было хотел сделать такого же, как сам, книжника и фарисея. Помнишь, однажды вытащил из-за пазухи маленькую книжонку, прижал меня к стене, да и ну на фандарах[15]: «Не подумайте, ваше высокородие, что я, ради какого высокомерного надмения, про сию книжицу, „Езда на остров Любви“[16] именуемую, продерзностно доложить вам осмелюсь, что в оной, так сказать, закрасневающаяся с честного устыждения речь, есть как беспорочна, так и не напыщенна, но некоторою природного красотою

возносится». Я было на попятный двор. Куда! прихватил меня за кафтанную петлю, надулся, как индейский петух, да как примется читать... Царю мой небесный!.. И теперь еще мороз по коже подирает. Уж он пытал, пытал меня! А ты-то, мать моя, уши развесила, да так и надседаешься! «Ах, батюшки мои! что за вирши такие!.. Господи, как хорошо! Куда, дескать, вы, сударь Василий Кириллович, сладко писать изволите!» Ан вот тебе и сладко! Небось, горько стало. Бывало, каждый день только и слышишь: тоска сердечная, любовь бесконечная, игры да смехи, любовные утехы; так что за диво, коли у девчонки голова кругом пошла?! Да вот постой, а приберу к рукам все эти скверные книжонки! видишь, грамотницы какие!.. Ну, что стоишь, матушка? Чай, все утро ничего не делала? Пошла, пошла, задавай уроки свои кружевницам, да у меня смотри, чтоб об этом дурацком сватовстве и в помине не было!

Варвара Дмитриевна ушла к Машеньке, которая слегла в постель, а Ильменев велел оседлать себе лошадь, надел полевой кафтан и до самого обеда проездил кругом своего се-

ла. К столу явилась одна Варвара Дмитриевна.

— Что Машенька? — спросил Ильменев, не глядя на свою жену.

— Плачет, батюшка.

— Плачет! — повторил сквозь зубы Сергей Филиппович. — Плачет! ну, пусть себе плачет: уймется когда-нибудь.

После обеда весь вечер Ильменев бился в шашки с своим дворецким, и как ни старался сметливый Фома поддаваться своему барину, а не мог проиграть ни одной игры. Он ужинал один. Варвара Дмитриевна не выходила из комнаты своей дочери. Ильменеву очень хотелось взглянуть на больную, но он укрепился и, как следует разгневанному отцу, ушел спать, не простясь с женою и не перекрестя на сон грядущий своей дочери. На другой день за обедом он спросил опять у Варвары Дмитриевны:

— Что Машенька?

— Плачет пуще прежнего, — отвечала бедная старушка, утирая глаза.

— Пуще прежнего! — сказал вполголоса Ильменев. — Глупая девчонка!.. Пуще преж-

него!.. Ну, видно, слезы-то у нее не покупные!

Так прошла целая неделя. Вот наступил великий годово́й праздник.[17] Машенька не могла еще подняться с постели. Ильменев и жена его сходились за столом и в церкви: одна плакала, другой прикидывался сердитым; но давно уже сердце его не вмещало другого чувства, кроме сострадания и любви: он грустил не менее своей дочери и даже по временам приходил в отчаяние, не видя никакого средства пособить ее горю. Ему казалось точно так же невозможным выдать дочь свою за Зарубкина, как желать, чтоб старший сын его, который умер еще в ребячестве, встал из могилы и явился к нему цветущим двадцатилетним юношею. Несколько ночей сряду приходил он украдкою к дверям комнаты, в которой жила Машенька, чтоб послушать, спокойно ли она спит.

— Авось пройдет! — говорил он, если ему казалось, что сон ее спокоен. — Разбойник Зарубкин! — шептал он с бешенством, когда замечал по неровному ее дыханию, что она плачет.

Накануне светлого воскресенья Машенька

вышла в первый раз к столу. Грустно было взглянуть на бедную девушку: она была так бледна, так слаба, что не только отец и мать, но даже слуги не могли без слез ее видеть. Молча, но почти с ласковым видом, Ильменев дал ей поцеловать свою руку. Машенька не плакала, она глотала свои слезы; но могла ли она скрыть на полумертвом лице эти глубокие следы безотрадной горести и томительных ночей, проведенных без сна?

— Проклятый драгун! — прошептал Ильменев. — И кто его угораздил быть сыном этого Зарубкина? Бедняжка совсем извелась... А что делать?.. Хоть бы дедушка-то его не был псарем у покойного моего батюшки!

После самого молчаливого обеда Машенька поцеловала опять руку у отца и пошла в свою комнату. Варвара Дмитриевна отправилась вслед за нею, а Сергей Филиппович с горя прилег на постель и заснул.

Что делал между тем Зарубкин? Несколько дней сряду он употреблял все средства, чтоб утешить своего сына; но, видя наконец, что его красноречие гибнет даром, махнул рукою

и сказал то же, что Ильменев:

— Ну, делать нечего, пускай себе тоскует: уймется когда-нибудь!

Деревня Ивана Тимофеевича Зарубкина отделялась только одним выгоном от большого экономического селения, в котором стояла рота драгун под командою его сына; несколько черных, до половины вросших в землю лачужек окружало господский дом, который мы называем домом потому, что из соломенной его кровли выглядывала кирпичная труба и что обширный двор его обнесен был не плетнем, а забором. На этом барском дворе вместе с индейскими петухами и курами преважно расхаживал ручной журавль, спокойно валялись в грязи домашние свиньи и несколько уток плавало в огромной луже, которая, как Средиземное море, стояла, не пересыхая, круглый год на самой середине двора. Во всем доме было только два покоя и одна пристроенная сбоку светелка; в ней жил Владимир; сзади к дому примыкали обширный огород и конопляник, а за ними начиналась дубовая роща, которая доходила почти до самых гумен казенного селения.

В последний день страстной недели, часу в седьмом вечера, Владимир сидел на крыльце перед домом своего отца. С этого места вид на все окрестности был прекрасный, но Владимир смотрел не на величественное течение широкой Оки, не на крутые ее берега, усыпанные селами; взоры его не останавливались на отдаленной и живописной группе городских домов, из среды которых подымалась высокая башня татарской мечети, которая и до сих пор существует. Нет, он глядел прямо перед собою на темный сосновый бор, за которым, как сквозь туман, виднелась тесовая кровля господского дома; под этой кровлею жила Машенька Ильменева, в этом доме он увидел ее в первый раз. Вот что-то вдали, как неподвижное облачко дыма, стоит над самою кровлею дома... Так точно! это вершина сибирского кедра, посаженного в саду дедом Ильменева. Давно ли Владимир вместе с *нею* любовался этим великаном дремучих лесов Сибири? Давно ли *она*, переносясь мыслью в этот пустынный и безлюдный край, говорила ему: «О! как были б мы счастливы, если бы могли жить там, вдали от всех, одни с нашей

любовью!» Давно ли и мысль о вечной разлуке с нею казалась ему невозможною? А теперь!..

— Опять ты нос повесил, Володя! — сказал Зарубкин, подойдя к своему сыну. — Да полно грустить! Завтра светлый праздник, все православные должны веселиться, а ты, смотри-ка, словно в воду опущенный... Грех, Володя, право грех!

— Я не грущу, батюшка.

— Не грустишь? Погляди-ка на себя, на что ты стал похож? кости да кожа! Вчера, в пятницу, ты не хотел обедать: «Я, дескать, батюшка, в этот великий день до звезды не ем». А сегодня что?

— Сегодня я обедал.

— Хорош обед: две ложки пустых щей да корочку хлеба... Эх, Володя, Володя! Напустил ты на себя дурь!.. Да что, в самом деле: иль на всем белом свете для тебя только и есть одна невеста? И что тебе в ней полюбилось?.. Ни дородства в теле, ни румянца в лице; так, взглянуть не на что! Ресницы длинные, да глаза по ложке — эка невидаль! Посмотри-ка дочку воеводского секретаря, Говоркова; ты

еще не видал; она гостит в Рязани у своей крестной матери. Вот уж подлинно есть чем полюбоваться. Что и говорить, царь-девица! Ростом с тебя будет, черноглазая, чернобровая, в щеках румянец так и пышет. А уж обычай-то какой! девка веселая, затейница, на месте не посидит. А голос-то, голос! Как зальется: «Ах ты, море, море синее», так за версту слышно. И эта не придет по сердцу — найдем другую. Ведь тебя, Володя, любая невеста с руками оторвет; не все такие чваны, как этот гордец Ильменев, — чтоб ему, проклятому, целый век внучат не дожждаться! Он бригадир, у него восемьсот душ, так уж ему с нашим братом, ординарным помещиком, и породниться нельзя! Эка спесь, подумаешь!.. Велико дело — ваше высокородие; нам и превосходительные кланяются.[18] Да если пошло на то, так хочешь ли, Володя, я сосватаю тебе дочь соседа нашего, князя Беркутова? Хоть он и татарского отродья, а все-таки сиятельный и в табели о рангах не ниже стоит этого высокородного скареда. Что, Володя, хочешь ли?

— Нет, батюшка, я хочу служить.

— Да что тебе служба далась? Вот пошел бы лучше по гражданской части...

— Не хочу, батюшка. Но вот уж, кажется, смеркаться начало... Прощайте, батюшка, я пойду сосну; ведь в полночь надо быть у заутрени.

— погоди, Володя, — сказал Зарубкин, — поболтаем еще кой о чем. Иль нет, — продолжал он торопливо, — ступай, голубчик, ступай... сосни, в самом деле!

— Что это, батюшка? — сказал Владимир. — Мне кажется, у наших ворот кто-то дожидается, вон там, видите, за забором, в высокой меховой шапке?

— Какой-нибудь прохожий или проезжий, бог с ним! теперь нам не до гостей. Ступай, Володя, ступай!

Владимир вошел в дом, а Зарубкин с приметной робостью подбежал к воротам, отпер калитку и впустил на двор человека высокого роста, в синем купеческом кафтане.

— Здравствуйте, батюшка Иван Тимофеевич, — сказал гость, не приподнимая своей шапки.

— Тише, бога ради, тише! — прошептал За-

рубкин, посматривая с ужасом вокруг себя. — В уме ли ты, Кузьма Степаныч! На дворе светлехонько, и народ еще порядком не угомонился, а ты лезешь прямо ко мне в дом.

— Небось, меня никто не видел.

— Как никто? Да мой Владимир сейчас здесь был; ну, если б он тебя узнал?

— Так назвал бы меня Алексеем Артамонычем Выдыбаевым. Ведь у меня на лбу не написано, что я...

— Тише, тише!.. Что ты горланишь!

Гость засмеялся.

— Ну, брат Иван Тимофеевич! — сказал он, — трусоват ты. Видно, в воеводской-то канцелярии тебя путем припугнули. Да вот, постой, скоро ты совсем окуражишься; как покину навсегда вашу сторону, так и все концы в воду. Я зашел к тебе, Иван Тимофеевич, проститься.

— Проститься?

— Да, любезный. Вишь, нагнали сюда этих сухарников драгунов, чтоб им передохнуть, окаянным. Теперь по всей Оке ходу нет нашему брату.

— Да, Кузьма Степаныч, держи ухо остро!

— Когда б их не так людно было, то я бы и «ох» не молвил; у меня ребята все удалые, лю-бому из них по два солдата мало на закуску; да вот беда: придется не по два, а десятка по три на брата, так, знаешь ли, и не вмоготу.

— Ты собираешься отсюда подальше?

— Да, голубчик! Делать нечего: сила солому ломит. Завтра спущусь по Оке вплоть до самой Волги, а там погляжу: есть пожива около Нижнего — ладно; нет — так вниз по матушке, к Царицыну; там есть к чему руки приложить: и стругов много, и купцов немало, а всякой вольницы и беспашпортных счету нет. Что, в самом деле, Иван Тимофеевич, не целый же век шмольничать да по рублеви-кам собирать; хватил разом — а там и шабаш!

— То-то же, Кузьма, видно, уж и самому надоело?

— Не то чтоб надоело: кому волюшка не любя? Житье разгульное, промысел удалой; да два-то столбика с перекладинкой мне больно не по сердцу, любезный.

— Кому они по сердцу! Ну, Кузьма Степаныч, если так, прощай, приятель; доброго пути, счастливой дороженьки!

— Постой, постой, Иван Тимофеевич! иль ты думаешь, что я на прощанье с моей родимой стороной не захочу по себе памяти оставить?

— Небошь, тебя не скоро забудут.

— И, любезный! у народа память коротка. Да не мешает и хлебцем запастись на дорогу. Послушай, голубчик, сослужи уж мне последнюю службу. Вот тебе пятьдесят крестовиков; мало — так еще десяток накину; а дело-то все для тебя гроша не стоит.

— Что ты еще затеваешь?

— Вот, изволишь видеть...

— Тс!.. Тише, тише!.. — перервал Зарубкин, поглядывая с робостью на отдаленный угол двора. — Смотри, смотри, кто это там крадется подле забора?

— Где?

— Вот прямо против нас.

Гость опять засмеялся.

— Ну, правду говорят, — сказал он, — пуганая ворона и куста боится. Эк тебе с страстей-то мерещится! Да разве не видишь, что это твой журавль?

— Журавль? Тьфу, батюшки! в самом де-

ле!.. Проклятый... как он меня напугал! Однако ж, знаешь ли что: здесь место прохожее, а людишки мои не все еще улеглись; пойдём-ка лучше в рощу.

— Да не шатается ли в ней твой полуночник?

— Кто? Владимир? Нет! он пошел спать. Пойдем, Кузьма Степаныч, пойдём! — продолжал Зарубкин, таща за собою гостя. — Володя прошлую ночь глаз не смыкал, так, верно, спит теперь мертвым сном.

Но Владимир не спал. Он ушел в свою светелку для того только, чтоб пробраться из нее в рощу, где мог на свободе грустить и мечтать о протекших минутах мимолетного счастья; о погибшей навсегда надежде; о верном, неизменном друге всех злополучных — о своем последнем смертном часе, который так ужасен для счастливца и так утешителен, так радостен для того, кто испил до дна всю чашу земной горести. Смерть — конец тяжкого изгнания, берег родной земли, о, как мила ты для усталого бедняка! С каким восторгом, устремив к небесам взоры, утомленный страданием, он повторяет неизъяснимо утешитель-

тельные слова: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы» [19]. С каким весельем спешит он сбросить с себя тяжелое бремя земной жизни, грехов и горя, болезней, житейских забот и грустного воспоминания, всегда минутных радостей и вечно постоянных бед!

Владимир с полчаса ходил уже по роще; все было тихо, и даже неугомонные грачи, которых шумный крик с утра до вечера раздавался по лесу, замолкли и приютились на вершинах ветвистых дубов и высоких берез. Вдруг ему показалось, что шаги его повторяются в близком от него расстоянии... Это не отголосок! Нет!.. Так точно, он не один гуляет по роще... Вот хрупнула сухая ветка... раздался шорох между кустов... и несколько невнятных слов долетело до его слуха. Владимир остановился, шаги послышались ближе, кто-то назвал его по имени. Голос показался ему знакомым. Владимир прислонился к дереву и, почти совсем закрытый высоким кустом жимолости, стал прислушиваться.

— Полно, Иван Тимофеевич! — продолжал тот самый голос, — ну, что ты ломаешься? Эка

важность, припереть часика на три светелку, в которой живет твой сын! Пусть проспит заутреню... Эх, брат, зазнался ты! Бывало, из двух рублей сбегал бы на рысях до самой Рязани, а теперь дают тебе пятьдесят крестовиков за такое плевое дело, а ты еще кочевряжишься!

— Да для чего ж ты хочешь, чтоб я продержал Володю взаперти до самого утра?

— Какое тебе до этого дело?

— Нет, воля твоя, Кузьма Степаныч, прежде скажи.

— Ну, слушай, любезный! Да только знай наперед: если я тебе все выскажу, так уж хочешь не хочешь, а делай по-моему. Я собираюсь сегодня поздравить с праздником соседа твоего, Сергея Филипповича Ильменева.

— Помилуй, Кузьма, что ты затеваешь?

— Как что? Да разве ты забыл? Ведь я при тебе дал слово приехать разговеться его куличом. Правда, я не сказал ему, что привезу с собой гостей; да у него дом как полная чаша, про всех будет, всего вдоволь. Мои молодцы в полуверсте от его дома вышли на берег и ждут только меня, чтоб приняться за работу.

Вот как ударят в колокол и все сберутся в церковь, так они с двух концов и зажгут село, а сами тотчас на сборное место, то есть в дом его высокородия, да и гуляй, молодцы! Мужички и дворовые станут хлопотать около пожара, а мы на просторе поочистим барские кладовые, кинемся на лодки, а там и поминай как звали. Ну, понимаешь ли теперь, зачем мне надо, чтобы твой сын до утра не выходил из своей светелки?

— Нет, не понимаю.

— Ах ты, голова, голова! да, разве, ты не заметил, что твой сынок засматривается на дочку Ильменева? Ну, как он увидит, что Зыково горит, да нагрянет с своею командою прежде, чем мы успеем убраться подобру-поздоровому, так дело-то будет плоховато; а если ты его продержишь взаперти, так и бояться нечего: без командирского приказа ни один драгун не посмеет отлучиться от своей квартиры. Ну, что, смекнул ли теперь, любезный?

— Понимаю, Кузьма Степаныч, понимаю. На-ка твои пятьдесят крестовиков, возьми их назад!

— Я уж тебе сказал, что еще десять прибавлю.

— И пятисот не возьму.

— Что так?

— Да так, не надо. Я тебе, Кузьма Степаныч, не указ! Делай что хочешь, а на меня не надейся. Хоть Ильменев и больно меня разобидел, но я никогда не забуду, что ел его хлеб и соль. Нет, любезный, бери один этот грех на свою душу, а я с тобой делиться не стану. Да и ты нашел время! в Христов день!.. Эх, брат Кузьма, бога в тебе нет!

— А давно ли, батюшка Иван Тимофеевич, вы стали так совестливы? Уж не хотите ли покаяться и раздать нищим свое имение? Слушай, брат! через неделю ты волен каяться; но если ты прежде с кем заикнешься об этом, вымолвишь хоть полслова, так не будь я Кузьма Роцин, если не издохнешь вот на этом ноже. Видишь что выдумал! Нет, голубчик, не хочешь делать, что я приказываю, не делай; но только знай, что если хоть один драгун будет на пожаре, так читай себе заранее отходную. Прощай!

— Постой, постой, Кузьма Степаныч. Что

ты! перекрестись!.. Ну, сам ты рассуди: за что мне быть в ответе, ежели с тобой какая ни есть беда случится? Сам лезешь в петлю, а я отвечаю!

— Уж там думай как хочешь; было бы сказано.

— Да выслушай: ты боишься драгунов, а Сергей-то Филиппович Ильменев, чай, отпору тебе не даст? Ведь он не кто другой; у него дворовых человек пятьдесят, и все молодец к молодцу, оружия всякого вдоволь; да и сам-то он за себя постоит. Эй, Кузьма, смотри, чтоб оглядок не было!

— Да разве ты не знаешь, что врасплох один десятерых прибьет?

— Так, любезный, так, а если кто-нибудь даст ему восточку?..

— Восточку?.. Ой ли? Послушай, Иван Тимофеевич! Бог весть, что у тебя на уме, но если я попаду в западню, так не прогневайся. Пошел со мной за одним, так одну чашу и пей. Нарочно живой в руки отдамся, чтоб объявить на суде, у кого я по зимам держу мою пристань.

— Что ты, что ты, Кузьма Степаныч! да не

ты ли божился?..

— Да, я божился, что не выдам тебя ни за что, когда ты станешь служить мне верой и правдою.

— Да что ж тебе надобно?

— Теперь ничего; делай что хочешь. До свиданья, товарищ!

— Постой, постой!.. Экой ты задорный! Ну, ну, добро! быть по-твоему.

— Что, надумался? То-то же! Прощай, приятель, мне болтать с тобою некогда.

— А пятьдесят-то рублей!

— На вот, бери.

— Ох, Кузьма, Кузьма, несдобровать нам с тобою... Да ты хотел еще десять рублевиков накинуть.

— На, на, возьми, крапивное семя! Да только смотри, брат, не сатани! Не сдержишь своего слова, так я сдержу мое. Прощай покамест.

Голоса умолкли. Опять раздался шорох по роще. Вот он слился вдали с тихим шепотом ветра. Прошло еще несколько минут. Владимир стоял все на том же месте. Неподвижный как истукан, он с трудом переводил дыхание,

которое вместе с глубоким стоном вырывалось из груди его. Под темным сводом небес, усыпанных яркими звездами, казалось, все покоилось кротким и тихим сном, но в душе несчастного юноши ревели бури. Праведный боже! И это был не сон? И голос, который он слышал, был голос его отца! И тот, кому он обязан жизнью, кто называет его сыном, — товарищ презренных убийц, наемник и слуга разбойника Рощина!

— Зачем я, горемычный, вернулся на родину! — сказал Владимир прерывающимся голосом. — Матушка, матушка! зачем я пережил тебя! О, родная, зачем ты умолила господу! для чего я не сложил на чужой стороне своей злосчастной головы! Теперь я был бы тобою!

Бедный Владимир залился слезами: в эту минуту он думал только о своем вечном позоре, о бесчестном имени, которое передаст ему отец, умирая под рукою палача, как сообщник и товарищ Рощина. Вдруг мысль о том, что через несколько часов шайка разбойников будет пировать в доме Ильменева, мелькнула в голове его: он вспомнил в то же время все угрозы Рощина: если этот злодей спасется,

то гибель отца его неизбежна; если он или один из разбойников его будет захвачен живым, то правительство узнает все, и тогда — что ожидает Владимира? Презренье товарищей, вечный срам и позор...

— Боже мой, боже мой, вразуми меня! — прошептал Владимир.

— Володя, Володя! где ты? — раздался в близком расстоянии голос Зарубкина.

Владимир вздрогнул. Этот голос возвратил ему всю твердость: отец ищет его, чтобы исполнить свой договор с разбойником, чтоб сделать и его участником своего гнусного заговора.

— Нет, нет, лучше смерть, чем вечный позор! — вскричал Владимир, пустившись бегом по тропинке, которая вела в село, где стояли его драгуны.

В несколько минут он достиг противоположной опушки леса; тропинка оканчивалась высоким плетнем. Владимир перелез через него и очутился на старом, давно покинутом гумне, которое соединялось с обширными деревенскими огородами. Он не успел еще сделать двадцати шагов, как вдруг оступился

и полетел стремглав в глубокую овинную яму; разбросанные на дне ее снопы полу-сгнившей соломы спасли его от ушиба, но прошло несколько минут, прежде чем Владимир очнулся от сильного потрясения. Он встал. Слабый ночной свет, который проникал сверху, помог ему рассмотреть, что не было даже и остатков лестницы, по которой спускались некогда в яму. Владимир пытался сначала выбраться на поверхность земли, цепляясь за стену, но все усилия его остались тщетными: земля осыпалась под его руками, ноги скользили, он обрывался и падал снова на дно ямы. Более двух часов прошло в этих напрасных попытках; он не смел просить помощи: за плетнем, шагах в пятидесяти от него, раздавались голоса, между которых Владимир ясно различал голос своего отца. Наконец мало-помалу голоса стали отдаляться, затихли, опять настала глубокая тишина... Вдруг раздался вдаль и прогудел первый удар колокола. Вся кровь застыла в жилах Владимира.

— Милосердный боже! — вскричал он, — это условный знак; еще полчаса — и все по-

гибло...

Вот в селе, от которого отделяли Владимира одни огороды, начался также благовест; народ зашевелился по улицам, и надежда вспыхнула снова в душе несчастного юноши; он начал кричать, громкий отголосок повторял его отчаянные вопли, но никто не спешил к нему на помощь. Измученный непрерывными усилиями и в совершенном изнеможении, Владимир упал на сырую землю. Как живой мертвец в открытой могиле, лежал он неподвижно и смотрел с мрачным отчаянием на безоблачные небеса. Он не молился, нет! в голове его не было никаких мыслей; ни один вздох не вылетал сквозь стиснутых зубов, даже сердце, казалось, застыло и перестало биться в одеревеневшей груди его... Но что это?.. Неужели утро?.. Звезды бледнеют; вот побелели небеса; вот они становятся все светлее и светлее; вот на них ложится какой-то кровавый отблеск... Так точно, это зарево пожара... Все кончено. В доме Ильменевых раздаются буйные крики убийц. Несчастный старик и жена его под ножами разбойников; а дочь... дочь!.. Быть может, в эту минуту

она лежит без чувств в позорных объятиях злодея; быть может, ее чистое, девственное чело, заклеянное поцелуем гнусного разбойника... О, какой ад закипел в душе Владимира! Он вскочил, как безумный, впился руками в рыхлые стены своей темницы, хватался зубами за осыпавшуюся землю; окровавленные его пальцы вонзались в нее, как когти дикого зверя. Напрасные усилия! Целые глыбы влажной земли отрывались, падали на дно ямы, и утесистые стены становились еще круче и неприступнее.

— Помогите, бога ради, помогите! — кричал наконец Владимир, выбившись совершенно из сил.

— Кто тут орет? — раздался вверху голос на самом краю ямы.

— Это ты, Жегулин? — спросил Владимир, узнав по голосу своего ротного трубача.

— Ах ты господи боже мой... Ваше благородие! Как это вас угораздило?

— Скорей, скорей, вытащи меня из этой ямы!

— Сейчас, ваше благородие. Разом сбегает за лестницей.

— Нет, нет; прежде беги на ротный двор; труби тревогу: седлать лошадей, карабины зарядить, все на коня!

— Слушаю, ваше благородие.

— Постой!.. Ты видишь пожар?

— Как не видеть, ваше благородие! Так и пышет. Должно быть, Зыково горит.

— Так, нет сомнения!.. Скорей, бога ради, скорей!

Жегулин побежал. Через четверть часа вся окрестность дрогнула и земля застонала от конского топота. Владимир впереди своих драгунов промчался по дороге в село Зыково.

Теперь нам должно вернуться несколько назад и посмотреть, что делается в поместье Сергея Филипповича Ильменева.

Было уже близко полуночи. Тихо струилась широкая Ока; луговая сторона ее, покрытая разливом, представляла вид необозримого озера, посреди которого чернелись местами не совсем потопленные кусты и до половины залитые водою деревья. Ничьи шаги не раздавались ни на барском дворе, ни на широкой улице села. Деревня — не город, в ней

полуночный час — час общего отдохновения. Но отчего же в это позднее время мелькали по всем избам огоньки, в господском доме освещены были все окна? Чего ожидали эти красные девушки и разряженные в пух молодцы? Зачем выбегали они беспрестанно за ворота и посматривали с таким нетерпением на колокольню своей приходской церкви? Для чего во всем селе Зыкове, от старика до малого ребенка, никто не ложился спать? Для чего?.. Всякий, кто жывал в деревне, без труда будет отвечать на этот вопрос: последний час великой субботы был уже на исходе; еще несколько минут — и, вместе с первым ударом колокола, все закипит жизнью, все дома опустеют и божий храм наполнится народом.

На завалине одной из крайних изб села Зыкова сидел худощавый старик лет осьмидесяти; он также поглядывал с нетерпением на колокольню, которая подымалась из-за соломенных кровель на противоположном конце улицы.

— Ну, видно, кум Герасим прилег соснуть, — промолвил наконец старик, покачав головою, — вот уж первые петухи пропели,

так чего ж он дожидается? Хи-хи-хи! Нет, старый наш дьячок Парфен не в него был; уж тот бы не задремал перед заутреней!

— Дедушка, а дедушка, ты здесь? — спросил молодой парень, выглянув из полурастворенных ворот.

— Что ты, Ванюша? Подь сюда.

— А что, дедушка, — сказал Иван, подходя к старику, — ты пойдешь аль нет к заутрене?

— Вестимо пойду! Ведь бог весть, доживу ли еще до другого светлого праздника.

— Да коли ты пойдешь, дедушка, так дома-то никого не останется.

— И, Ванюша, да чего нам беречь-то? что у нас, аль казна какая?

— Казна не казна, дедушка, а все-таки лошадка, скотина, да то, да се. Слава тебе, господи, есть и от нас чем вора́м поживиться!

— Да что те, Иван, все воры мерещатся? вчера, по-вечеру, ты баил, что на Оке какие-то лодки с народом разъезжают.

— Да, дедушка! Я сам видел две косные лодки и, кажись, не с бурлаками, а теперь слышишь, как Жучка-то на огороде лает?

— Так что ж?

— Как что? уж я унимал, унимал ее, и хвостинкой раза два огрел по боку, так нет, вот так и рвется! Видно, что-нибудь да есть.

— И, парень! чему быть!

— То-то, дедушка, уж не забрался ли к нам кто-нибудь на зады?

— На зады? Зачем? Вязанку-другую соломки снести?.. Так что ж? Бог с ним! Он не разбогатеет, а мы не обедняем... Чу!

На колокольне раздался первый удар колокола.

— Слава тебе, господи! — сказал старик, перекрестясь. — Вот ударили и к заутрене. Ух, батюшки, так сердце и запрыгало от радости... Да что ж он?.. Иль опять заснул? Хорош звонарь! ударит да домой сходит. Ну, так ли надо благовестить в Христов день?.. Эх, кум, кум; поучился бы ты у покойника Парфена! Бывало, тот приударит — так что твой набат!.. А этот... Эка мямля, подумаешь!.. Ну!.. Затянул.

— Смотри-ка, дедушка, никак, уж с барского двора народ идет?

— Зашевелились! Вот и шабры наши вышли за ворота... Ну, что, Ваня, стоишь? Как

все православные сберутся в церковь, так не продерешься. Ступай, посылай жену.

— Пстой-ка, пстой: слышишь, как Жучка опять залаяла? ей, дедушка, останься дома!

— Эх, полно! Наладил одно да одно: Жучка лает! Эко диво! Ну, заяц пробежал по огороду, так вот она и надседается.

— Власть твоя, дедушка, а у меня сердце что-то недоброе чует. Ну, да воля твоя господня! Вот и Груня идет. Пойдем, родимый.

Старик встал с завалины и, опираясь на свой посох, поплелся вместе с внучатами к заутрене.

Не прошло еще и десяти минут от первого удара колокола, а в церкви уже невозможно было пошевелиться от тесноты; вновь приходящие становились на паперти; вскоре и на самом погосте начал толпиться народ. Все ожидали с нетерпением своих господ; вместе с их приходом должна была начаться заутреня. Вот пробежал тихий шепот по всей церкви; народ заколыхался, и, несмотря на тесноту, от самых дверей до амвона, посреди густой толпы, образовалось пустое место.

— Посторонись, посторонись! — заговори-

ли со всех сторон. — Господа идут!

И Сергей Филиппович Ильменев с женою и дочерью вошли в церковь.

— Родная-то наша как похудела! — шептали между собой крестьянские бабы, посматривая с горем на Машеньку, — вовсе схизнула! Ах ты господи боже мой, кровинки в лице не осталось!

Семейство Ильменевых, пройдя всю церковь, поместилось на левом клиросе, и служба началась. Вот стали подымать хоругви и местные образа; народ вслед за ними потянулся шумным ходом из церкви; но лишь только священник, окруженный своим причетом, и крестьяне с образами вышли на паперть, слышался сначала невнятный говор, — и вдруг сотни голосов слились в одно общее восклицание ужаса.

— Пожар! пожар! — раздалось на паперти.

— Горим! Батюшки, горим! — закричали в церкви.

Народ заволновался, все крестьяне хлынули толпою к дверям и, давя друг друга, высыпали на погост. Ильменевы вышли из церкви последние. На дворе было светло как днем.

Несколько изб пылало на противоположном конце улицы. Вдруг пламя показалось посреди села, а через минуту вспыхнул огонь против самой церкви. Быстро, как огненная река, разлился пожар от одного конца селения до другого, и черные тучи дыма улеглись над пылающими кровлями домов.

Если вам не удавалось никогда видеть пожара в деревне, то, конечно, вы имеете только одно слабое понятие об этом ужасном бедствии; в городе так близка всякая помощь, там есть полиция, которая смотрит за порядком и берегает имущество обывателей в то время, как хорошо устроенная пожарная команда работает дружно, без замешательства, имея в руках своих все средства, чтобы действовать с успехом; но в деревне, особливо лет сорок тому назад, когда еще начальство не обращало внимания на то, чтобы сельские жители строились просторнее, пожар являл самую ужасную картину разрушения, гибели и беспорядка. Выстроенные без всяких промежутков сотни полторы изб и клетушек, составлявших село Зыково, казались в эту минуту одним обширным костром. Пылающие

отрывки соломенных кровель летали и крутились по воздуху; крестьяне, как безумные, бросались в огонь, спасали детей, вытаскивали свое имущество, выгоняли лошадей на улицу; никто не слушал друг друга; каждый думал только о себе. Крик и плач ребятишек, вопли отчаянных матерей, треск от разрушающихся строений — все заглушало голос Ильменаева, который, с хладнокровием старого солдата, хотел было сначала распорядиться и отдавать приказания, но, видя, что никто его не слушает, он велел всем дворовым остаться в деревне и помогать крестьянам тушить огонь, а сам отправился с женою и дочерью домой.

— Не бойся! — говорил он Машеньке, которая дрожала от страха, — до нас огонь не доберется; от нашей усадьбы до деревни с полверсты, да и ветер не в ту сторону.

— Господи, господи! — сказала с ужасом бедная Варвара Дмитриевна, когда, пробираясь задами, она увидела, что почти все селение охвачено огнем, — за что ты нас наказуешь? Чем мы провинились перед тобою? Вот грех какой!.. И в самый светлый праздник!

— И загорелось в трех местах разом! — шептал Сергей Филиппович, покачивая головою. — Ну, это недаром!.. Я провожу вас до дому, а сам пойду опять на пожар! Тут что-нибудь да есть. Уж не по насердкам ли кто-нибудь?.. Уж не сосед ли наш Кочерышкин, с которым мы в тяжбе?.. Чего доброго! от этого негодяя все станется. Что это? — продолжал Ильменев, взглянув на ярко освещенные окна своего дома, до которого оставалось уж не более двухсот шагов, — иль мне мерещится!.. Да у нас в доме суется люди!.. Видишь, жена... как будто бы таскают что-то... Ну, так и есть! Дурачье! Я велел им всем остаться на пожаре; так нет, прибежали как прибежали! И, верно, выносятся!

— Ох, батюшка Сергей Филиппович, право, не худо, что они выбираютя! Ну, если ветер повернет в нашу сторону?

— Так успели бы и тогда... Скоты!.. Пройдемте вот здесь, садом; тут будет ближе... Да ступайте скорее! Ведь они, пожалуй, сдуру-то весь дом поставят вверх дном!

Сергей Филиппович отворил калитку, и лишь только он вошел в сад, как вдруг тяж-

кий стон раздался у самых ног его.

— Что это такое? — вскричал Ильменев, отскочив с ужасом назад.

Перед ним лежал человек, весь в крови, с разрубленной головою.

— Вы ли это, батюшка барин? — прошептал умирающий.

— Ах, боже мой, садовник Кудимыч! Что с тобой сделалось?

— Разбойники!

— Врешь! — раздался подле грубый голос, — не разбойники, а удалая вольница рязанская! Милости просим, хозяин; принимай дорогих гостей.

И прежде, чем Ильменев успел очнуться, его окружили, схватили, вместе с женою и дочерью, и, несмотря на отчаянное сопротивление, потащили по дорожке, ведущей к дому.

Если вам случалось когда-нибудь, гуляя в праздничный день за городом, войти поневоле в питейный дом или какую-нибудь харчевню, чтобы укрыться от внезапной грозы, то вы, верно, видали, как пирует и веселится низший класс нашего общества. Без всякого сомнения, эта буйная, неистовая радость, эти

безумные восклицания пьяной черни, это скотское и срамное веселие возбуждало в высочайшей степени ваше отвращение, и вы, несмотря на проливной дождь, спешили выйти опять на воздух, чтобы не задохнуться в заразной атмосфере разврата, чтобы не видеть гнусного порока во всей безобразной наготе его. Теперь представьте себе сборище людей, в сравнении с которым эту беседу налитой вином сволочи можно было бы назвать почти хорошим обществом, и тогда вы будете иметь понятие о том, что происходило в доме Сергея Филипповича Ильменева в то время, когда он со всей своей дворней был на пожаре.

В обширной столовой его барских хором пировали человек тридцать разбойников; одни — в нарядных плисовых полукафтаньях, забрызганных кровью, запачканных грязью; другие — в лохмотьях, в серых зипунах, в красных рубашках с засученными рукавами; у одного за поясом заткнуты были пистолеты, у другого торчал широкий нож; по углам стояли длинные винтовки и рогатины, а посредине комнаты — бочка вина с выбитым дном.

Кругом ее валялись стеклянные бутылки и наливки разных цветов стояли лужами на полу. У самых дверей лежал зарезанный старик, дворецкий Ильменева, а подле — внук его, грудной ребенок, с разmozженной головою был брошен на кучу разбитых бутылок. По всей комнате валялись узлы с платьем, серебряная посуда, ларцы и окованные железом сундуки. На одном из них сидел человек лет тридцати, в зеленой куртке, небольшого роста, плечистый, с отвратительной красной рожей и обритым лбом. Это был известный есаул Рощина, беглый солдат по прозванию Филин, самый кровожадный зверь из всей этой стаи голодных волков.

— Эй ты, Еж! — закричал он сиповатым голосом одному из разбойников, — подай-ка мне еще стаканчик винца: что-то на сердце невесело. Да куда девался атаман?

— Вон, в том покое; все возится около железного сундучка, — отвечал разбойник, подавая есаулу серебряную чару с вином.

— Да что он ему, словно клад, не дается?

— Ну, вот поди ты! Вишь, так прикован к полу, что и лом не берет.

— Так половицу вон!

— Пытались отодрать, да нет, не поддается; видно, ерши в балку пропущены.

Два разбойника вошли в столовую, волоча за собой огромный дубовый сундук.

— Ну, что ж вы стали? — закричал Финлин. — Тащите проворнее.

— Да вот этот мешает, — отвечал один из разбойников, указывая на убитого старика, — вишь, растянулся поперек дороги.

— Пойдите, ребята, я подсоблю.

Есаул встал, оттолкнул ногою убитого и помог им втащить сундук.

— Ну, что? — продолжал он, — совсем очистили барскую кладовую?

— Да, почитай, совсем; так, кой-какой хлам остался.

— Так вы бы огоньку подложили; по мне, уж грабить так грабить; чего сам не захватил, так то огнем гори.

— Оно бы, кажись, и так; да разве ты не слышал приказа атамана?

— Какого приказа?

— Да чтоб не жечь барских хором.

— А почему так?

— Про то он знает.

— Он знает, а я не знаю да и знать не хочу.

— Ой ли? Эй, Филин, смотри! ты что-то крупно поговариваешь! услышит Кузьма...

— Так что ж? Что я, холоп, что ли, его? Велика фигура атаман! И кто его атаманом-то поставил? Кого он спрашивался! Дери его горой!.. Да чем мы хуже его!

— Ну, полно, не шуми, осиновое яблоко, не мешай грибам цвести! — проревел один мужчина, аршин трех росту, с огромной курчавой головою.

— А тебя, Каланча, кто спрашивает? — сказал есаул, взглянув исподлобья на разбойника. — Хочу шуметь, так и шумлю!

— Смотри, чтоб у тебя в голове не зашумело! — продолжал великан, зачерпнув ковшик вина из бочки.

— Что, что? — закричал, подойдя к нему, Филин. — А крепко ли твоя-то башка на плечах держится?

— Да что ж ты, в самом деле, хорохоришься! — сказал Каланча, приостановясь пить. — Много ли тебя в земле, а на земле-то немного. Вишь, богатырь какой! Завалился за маковое

зерно да думает, что ему и черт не брат.

— Слушай, ты, долговязый! — заревел есаул, — да как ты смеешь?..

— Полно же, полно, не суйся мне под ноги! неравно наступлю, так и поминай как звали.

— Ах ты, жердь проклятая! — вскричал Филин, стараясь схватить за ворот колоссально-го разбойника.

— Да полно тянуться-то, не достанешь! — сказал Каланча, оттолкнув Филина. — Эй, брат, отстань; дам раза, так другого не попросишь!

— Тише, тише, ребята! — закричали разбойники. — Атаман идет!

Рощин вошел в столовую.

— Что вы тут развозились? — сказал он, взглянув сердито на Каланчу и есаула, — чем бы торопиться все к рукам прибрать, они схватились драться, дурачье!.. Филин! возьми с собой человек десяток да перетаскай все на лодки! Ну, что стоишь? поворачивайся!

Есаул, ворча сквозь зубы, как цепная собака, принялся с товарищами за работу.

— Носите все садом, — продолжал Рощин, — прямо вниз к Оке; да проворней! ведь

нам не сутки здесь гостить. А это что? — прибавил он, указывая на убитых. — Старик и ребенок?.. Ах вы, мясники, мясники! Что, они с вами в драку, что ли, лезли?.. Кто их зарезал?

— Да старика-то я хватил, — сказал, почесывая в голове, Каланча. — Он чуть было не улизнул на село. А парнишку пришиб есаул: визжать больно стал.

— Эка бешеная собака!.. Кровопийца!.. Ну да теперь некогда об этом толковать. Эй, ты, Цапля!.. Поди-ка сюда. Ты, бывало, мастер без ключа отпирать чужие замки; не ухитришься ли как ни есть отпереть железный сундучок вон в том покое? Уж мы около него попотели; хоть тресни, не отдерешь от полу... Иль нет! постой-ка на минутку, авось и без тебя дело обойдется.

Четверо разбойников ввели в комнату связанного Ильменева и почти внесли на руках жену его и дочь, которые от страху едва могли держаться на ногах.

— Милости просим, ваше высокородие! — сказал Роцин, поклонясь вежливо Ильменеву. — Я сдержал мое слово и приехал к вам разговеться.

— Возможно ли? — вскричал Ильменев, — Алексей Артамонович!

— Да, сударь, и Алексеем бывал. Что делать, Сергей Филиппович; не погневайтесь, на том стоим!

— Так поэтому ты...

— Кузьма Роцин, которого вы изволили величать Кузькою и хотели принять, угостить и в бане выпарить.

— Ну, боишься ли ты бога? — воскликнула Варвара Дмитриевна, всплеснув руками, — есть ли в тебе совесть?.. За нашу хлеб-соль...

— Молчи, жена! — сказал Ильменев, — захотела ты совести в разбойнике!

— И у нас есть, барин, своя совесть, — прервал Роцин, — у другого бы помещика не осталось ни кола ни двора, а твои хоромы целехоньки; от другого бы хозяина мы огоньком допытались, где лежат его денежки, а тебя я с поклоном прошу: «Пожалуй, батюшка Сергей Филиппович, ключ от своего сундука!» Не пожалуешь, так бог с тобой! И сами поищем. Только не погневайся, матушка Варвара Дмитриевна, ежели мы тебя обшарим немножко; мне помнится, что ключи-то у те-

бя в кармане побрякивали.

— На, злодей, возьми! — проговорила Ильменева, подавая ему связку ключей.

— Покорнейше благодарим, матушка! будьте спокойны, вас никто ничем не обидит. Эй вы, пострелы, шапки долой! Да у меня смотри, не лаяться при барынях; дело делом, а почет почетом.

Вдруг в близком расстоянии от дома раздался выстрел.

— Что это? — вскричал Рощин, — кто смеет?.. Разве я не приказывал?.. Еще!.. Проклятые! переполошат все село!.. Эй, Каланча, беги скорей, скажи этим дуракам...

— Где атаман? — загремели голоса в передней, и несколько разбойников с испуганными лицами вбежали в столовую.

— Что вы? — сказал Рощин, идя к ним навстречу.

— Драгуны!..

— Возможно ли?.. Анафема Зарубкин! это его дело... Где они?

— Близехонько; сейчас выехали из-за рощи.

— Много ли их?

— Видимо-невидимо.

— Эй, ребята! — закричал громовым голосом Роцин, — живо! забирай что полегче да садом на Оку! Филин, сberi сторожевых и беги туда же!.. Двери в передних сенях на запор! Вы все задним крыльцом наутек, а я покамест побуду здесь... Один челнок оставить у берега... Лодкам отчаливать да вниз по Оке... Ступай, ребята!.. А ты, Сергей Филиппович, — продолжал Роцин, запирая изнутри двери в прихожую, — изволь стоять смирно. Вы также, барыни, смотрите ни гугу — как будто бы никого в покое нет! А если кто-нибудь из вас подаст голос, так не прогневайтесь, — прибавил он, вынимая из-за пояса пистолет. — Чу!.. Нахлынули.

На дворе послышался конский топот.

— Изменник! — прошептал Роцин, — иуда! предатель! Да погоди: не тебя, так сына!

Он подошел к окну, из которого виден был весь двор, открыл форточку и взвел курок у своего пистолета.

— Спешились!.. Вот он... впереди своих драгун... Милости просим!.. Подходи, подходи, голубчик!.. Вот так... Владимир Иванович! —

закричал громким голосом Роцин, — отнеси это своему батюшке...

Вместе с выстрелом Машенька вскрикнула и упала без чувств на пол.

— Сюда, за мной! — загремел на крыльце голос Владимира.

— Что за дьявольщина! — сказал Роцин, — неужели промахнулся?.. Ну, делать нечего; авось, разочтусь с батюшкою... Чу!.. Ворвались в сени... мешкать нечего.

— Ломайте дверь! — закричали голоса в передней.

— Ты не уйдешь, злодей! — сказал Ильменев.

— Бог милостив, Сергей Филиппович! А не уйду, так вот моя оборона, — прибавил Роцин, подбежав к лежащей без чувств Машеньке.

Он схватил ее, взбросил, как перышко, на плечо и кинулся вон из комнаты.

— Дочь моя, дочь! — вскричала с отчаянием Варвара Дмитриевна, — помогите, бога ради, помогите!

Крепкая дубовая дверь затрещала под ударами ружейных прикладов, и через минуту

Владимир с драгунами ворвался в столовую.

— Сергей Филиппович! — вскричал он, подбегая к Ильменеву, — вы живы? где дочь ваша?

— Батюшка, спаси! — завопила Варвара Дмитриевна.

— Где она?.. бога ради, говорите! Скорей, скорей!

— Ее унес разбойник Роцин.

— Куда?

— Батюшка, не знаю! верно, садом к Оке.

— Спаси мою дочь — и она твоя! — вскричал Ильменев.

— За мной, ребята!

И прежде, чем драгуны успели выйти вслед за ним на заднее крыльцо, он бежал уже по саду.

Роцин, несмотря на свою ношу, был уже далеко. В несколько минут он выбрался из сада и сосновой роци; ему оставалось только спуститься с горы к небольшому заливу реки, где меж потопленных кустов причалены были лодки разбойников. Вдруг внизу, на Оке, загремели выстрелы.

— Неужели, — прошептал он, — их успели

отхватить? Да не может статься! Они, верно, отстреливаются, — промолвил он, начиная спускаться по крутой тропинке...

Дорожка вилась между кустов, которые мешали ему видеть ближний берег реки.

— Да что ж они не выплывают на середину? — проговорил Роцин, поглядывая вдаль. — Дурачье! нашли время держаться берега.

Он продолжал идти, прислушиваясь к ружейным выстрелам, до того места, где тропинка поворачивала круто в сторону и огибала небольшой песчаный холм, который стоял почти отвесно над самою рекою. Роцин вбежал на него, и в первый еще раз бесстрашное сердце разбойника дрогнуло от ужаса: налево под его ногами расстилался небольшой залив; три косные лодки вытащены были на берег, и человек пятьдесят драгун встречали изза них ружейными выстрелами прибегающих разбойников; вся пристань была устлана их трупами.

— Ну, плохо дело! — сказал Роцин, опуская наземь Машеньку, которая начинала приходить в себя.

Он окинул быстрым взором всю окрестность: направо, шагах в пятидесяти от него, подле рыбацъей хижины, понятой водою, причалена была лодка.

— Авось, успею! — шепнул он.

— Владимир! — вскрикнула Машенька слабым голосом.

Быстро обнял разбойник одной рукой Машеньку, выхватил из-за пазухи широкий нож и занес его над грудью полумертвой девушки, но Владимир был уже подле; поднятая рука разбойника замерла в его руке, и нож выпал на землю. Роцин бросил Машеньку и отвел левою рукою направленный на него пистолет; выстрел раздался; пуля свистнула мимо. Сильным порывом разбойник освободил свою правую руку, обхватил обеими Владимира, прижал его к груди, и смертельная борьба началась. Она была непродолжительна: отчаянное мужество, гибкость, необычная мощь Владимира — ничто не устояло против колоссальной силы Роцина: он задушил его в своих объятиях, сшиб с ног, придавил коленом к земле и, поднимая свой нож, сказал вполголоса:

— Это тебе! а батюшке честь впереди!

С воплем отчаяния кинулась Машенька на грудь Владимира под самый нож разбойника; он остановился и устремил свои сверкающие глаза на бедную девушку.

— О, ради твоего последнего часа, ради самого господа! — произнесла умирающим голосом Машенька.

В неумолимых взорах разбойника мелькнуло что-то похожее на жалость.

— Сюда, братцы, сюда! — загремели вблизи голоса, и человек десять драгунов выбежали из-за кустов.

— Молись за нее богу! — сказал Рощин.

Он вскочил, отступил шага два назад и со всего размаха бросился в реку.

— На берег, ребята! — вскричал вахмистр, который бежал перед драгунами, — и лишь только он вынырнет...

— Стойте! — сказал Владимир, подымаясь с трудом на ноги. — Пусть он умирает своею смертью: мы не палачи.

— И то правда, ваше благородие! — отвечал вахмистр, войдя с своими товарищами на песчаный холм, — река в разливе, не пере-

плывет.

— Вот он, вот он! — закричали драгуны.

В нескольких шагах от берега Рощин показался на поверхности воды; он плыл с невероятной быстротою.

— Смотри, смотри, куда пробирается! — сказал вахмистр. — Вон там, на воде, подле той избенки, видите, причалена лодка?.. Зорек, собака!

Рощин доплыл до рыбацкой хижины, прыгнул в лодку, в полминуты выбрался на быстрину и помчался стрелою по течению реки.

— Эх, ваше благородие, — сказал один драгун, — прозевали мы его!

— Молчи, дурак! — прервал вахмистр. — Видно, ему так на роду написано; кому быть повешену, тот не утонет.

— Дочь моя! Дочь моя! Она жива! — раздались позади голоса, и Машенька бросилась на шею к Ильменеву.

— Теперь поцелуй жениха своего, — сказал Сергей Филиппович, подводя ее к Владимиру.

— И да благословит вас господь! — прошептала Варвара Дмитриевна, обнимая их

обоих.

На другой день, около вечерен, Ивана Тимофеевича Зарубкина нашли зарезанным в лесу, в двух шагах от его усадьбы. Вся шайка Рощина была истреблена, но он сам пропал без вести. Владимир женился на Машеньке, вышел в отставку и вместе с Ильменевыми отправился на житье в Москву. Прошло лет двадцать; имя удалого разбойника почти совсем изгладилось из памяти прибрежных жителей Оки; одни зыковские крестьяне пугали еще Кузьмою Рощиным детей своих и рассказывали им, как он выжег их село, как разграбил барский дом, как молодой их барин, Владимир Иванович, нагрязнул на его шайку с своими драгунами и перерубил всех дотла, кроме самого Рощина, который обернулся серым волком и, как слышно, убежал в Брынские леса, где и теперь рыскает по ночам и воет так, что кругом его верст за десять по всему сырому бору стон идет, земля дрожит и птица со страстей гнезда не вьет.

II СУД БОЖИЙ

Тысяча семьсот семьдесят первый год памятен[20] для московских жителей: он был одним из самых тяжелых годов для нашей древней столицы; и теперь еще старики, рассказывая про былое, говорят: «Это случилось года два до московской чумы; это было в самый чумный год». Выражаясь таким образом, они уверены, что определяют с большею точностью время происшествия. До сих пор московские старожилы, вспоминая с ужасом об этой «године бедствия», с которой, по словам их, едва ли может сравниться французский «погром» 1812 года. Я почти согласен с этим: в 1812 году, смотря на необъятное пепелище Москвы, на тысячи разрушенных и сторевших домов, вы могли думать, что те, которые в них жили, зажгли их собственной своей рукою,[21] что они утратили часть своего достоинства, но спаслись сами и, может быть, спасли сим пожертвованием славу, могущество и самобытность своей родины. Эта утешительная

мысль, эта мысль, возвышающая душу, накидывала какой-то очаровательный покров на развалины Москвы; вы смотрели не с горем, но с благоговением и гордостью на эти священные груды камней, на эту обширную могилу врагов России. Пусть скажет тот, кто вскоре по изгнании французов был в Москве, не была ли эта мысль для него ангелом-утешителем даже и тогда, когда он сидел на развалинах собственного своего дома?

В 1771 году Москва не горела, по улицам не дымились остовы домов: дома стояли по-прежнему на своих местах, но эти заколоченные двери, забитые досками окна, эти вывески смерти — красные кресты на воротах зачумленных домов, которые, как два ряда огромных гробов, тянулись по обеим сторонам улицы, — не во сто ли раз ужаснее всякого пожара? Прибавьте к тому почти совершенное безначалие,[22] безмолвие могильное в предместьях, неистовые крики бунтующей черни в середине города — этой безумной толпы, которая, упившись кровью тех, кои заботились о ее же спасении, грабила, разбивала кабаки и устилала своими зараженными

группами опустелые улицы Москвы. Представьте себе все это, и вы, верно, согласитесь, что бедствие 1771 года было гораздо тяжелее для московских жителей, чем то, которое в 1812 году сделалось началом, а может быть, и главною причиною спасения всей Европы.

Восточная чума, которую простой народ так выразительно называет *мором*, показала в Москве еще в 1770 году; она свирепствовала тогда в Молдавии и Валахии, где в то время расположены были наши войска. Частые сообщения московских жителей с действующею армиею, вероятно, были причиною появления язвы сначала в Малороссии, а потом и в самой Москве. Меры, принятые начальством, казалось, прекратили ее совершенно, но в следующем, то есть в 1771 году, в марте месяце, она открылась снова и усилилась до того, что в сентябре число ежедневно умирающих доходило до тысячи человек. Все старания для прекращения моровой язвы были безуспешны.

Чернь негодовала на учреждение карантинных домов, запечатание бань, а более всего на запрещение погребать умирающих при

городских церквах. В смутные времена обманщики и плуты всегда пользуются легковерием народным. Один фабричный из суконного двора начал разглашать, будто бы видел во сне, что это бедствие постигло Москву за то, что никто не только не пел молебна, но даже и свечи не хотел поставить образу божией матери, находящемуся у Варварских ворот. Несмотря на нелепость этой сказки или, лучше сказать, потому именно, что в ней все противоречило истинной вере и здравому смыслу, безумная чернь кинулась толпою к Варварским воротам; начались непрерывные молебны, здоровые и больные стекались со всех концов Москвы, заражали друг друга и, разнося смерть по домам своим, гибли целыми семействами.

В это-то бедственное время, рано поутру 15 сентября тащилась шагом по большой Ярославской дороге телега, запряженная тройкою лошадей; в ней сидел купец в синем кафтане тонкого сукна, сверх которого наброшена была дорогая лисья шуба. С первого взгляда на его белую как снег бороду и высокий лоб, покрытый морщинами, можно было по-

думать, что он доживает осьмой десяток, но жизнь, которая горела в его глазах, по временам грустных и задумчивых, его прямой и видный стан, не совсем поблекшие щеки — все доказывало, что не лета, а горе провело эти глубокие морщины на лице и покрыло преждевременной сединою его голову.

— Вот уж солнышко и пригревать стало, — сказал проезжий, спуская с плеча свою шубу, — Эй, друг сердечный! — продолжал он, обращаясь к ямщику. — Ты уж версты четыре едешь шагом. Не пора ли рысцой?

— Постой, хозяин, — отвечал ямщик, — выберем на горку, так и рысью поедem. Да что ты больно торопишься? Теперь все норовят из Москвы, а в Москву охотников мало.

— А ты давно ли был в Москве? — спросил купец.

— Да вот ономясь, дней пяток назад, возил ростовского купца.

— Ну, что, полегче ли стало?

— Куда легче? Такой мор, что и сказать нельзя! Так, слышь ты, варом и варит. Гробов не успевают делать.

— Боже мой, боже мой, — прошептал ку-

пец, — не накажи меня по грехам моим!

— Прогневали мы господу, — продолжал ямщик. — А слышал ли ты, хозяин: на Варварских воротах явился образ Боголюбской божией матери?

— Нет, не слышал.

— Я в прошлый раз ходил сам ему свечу поставить. Господи боже мой, народу-то, народу!.. Так друг друга и давят! А, говорят, стали мереть пуще прежнего.

— И не диво, любезный! ведь эта болезнь пристаёт. Ну, теперь дорога пошла под горку, — продолжал купец, — приударь-ка, голубчик!

— Погоди, хозяин! выберемся из этого села, так поедем; вишь, по улице-то грязь какая; вовсе дороги нет.

Проезжие въехали в село Пушкино. Кое-где лаяли тощие собаки, и заморенные голодом телята бродили по улице; но нигде не слышно было голоса человеческого, ни одна труба не дымилась; все было мертво и тихо, как в глубокую полночь.

— Что это, любезный, — спросил купец, — иль еще по домам все спят? кажись, солныш-

КО ВЫСОКО.

— Какой спят! — отвечал ямщик, покачивая головою, — все Пушкино вымерло.

— Возможно ли? неужели все до одного?

— Все, от мала до велика; во всем селе живой души не осталось.

— Все до одного! — повторил купец вполголоса. — Быть может, в этой избе дня три тому назад отец любовался своей семьей... мать нянчила детей своих...

— А теперь, — прервал ямщик, — и ворот-то притворить некому; тут жил мой кум Фаддей, мужик богатый; а семья-то какая была! шестеро сыновей, молодец к молодцу! Недели две тому назад все были здоровехоньки, а как в последний раз я проезжал, так, гляжу, горемычный старик один как перст сидит на завалинке. Он что-то хотел мне сказать вдогонку, да вдруг покотился, застонал и тут же при мне богу душу отдал.

Миновав длинный порядок крестьянских дворов, проезжие стали приближаться к деревенской околице. Из крайней избы, высунувшись до половины в окно, смотрела на улицу крестьянская баба, повязанная белым плат-

КОМ.

— Слава тебе, господи! — сказал проезжий. — Насилу-то увидели живого человека.

Ямщик покачал головою.

— Да разве ты ослеп? — продолжал купец. — Вон в крайней-то избе!

— Вижу, хозяин; да она уж пятые сутки смотрит из окна. Видно, голубушка, хотела перед смертью взглянуть на свет божий. Сердечная!.. и прибрать-то ее некому.

Купец невольно содрогнулся, когда они поравнялись с избой, из которой выглядывала эта ужасная хозяйка. Он закрыл руками глаза, чтоб не видеть ее обезображенного и покрытого черными пятнами лица, на котором замерло выражение нестерпимой муки и адского страдания.

Когда проезжие выехали из села, ямщик тронул лошадей и поехал небольшой рысью.

— Да прибавь немного ходу! — сказал купец, — этак мы целый день протащимся.

— Как еще ехать-то? — пробормотал извозчик, пошевеливая вожжами. — И куда спешить, хозяин? Ведь не на радость едешь.

— Почему ты это знаешь? — спросил то-

ропливо купец.

— Да что теперь веселого-то в Москве?

— У меня там жена и дети.

— Вот что! Да постой-ка, — продолжал ямщик, оборачиваясь к своему седоку, — никак ты московский гость, Федот Абрамыч Сибиряков?

— Да, это я.

— То-то, я слышу, голос знаком. Ах ты господи боже мой, насилу признал!

— Да почему ты меня знаешь?

— Как не знать. Я прошлую осень возил тебя со всей семьей в Ростов. Ведь у тебя свой дом на Варварке, в приходе Максима Исповедника? Такие знатные каменные палаты.

— Постой, постой! — сказал купец, — а тебя не Андреем ли зовут?

— Андреем, батюшка. Я и сожительницу, и деток твоих знаю. Ну, уж хозяйюшка у тебя, что за добрый человек! Дай бог ей много лет здравствовать! И две дочки, нечего сказать, такие ласковые, пригожие... Вот сынок-то у тебя...

— У меня нет сына.

— А кто ж это был с вами? Так, парнишка

рыженький, некошной собою, Терешей зовут?

— Это мой приемыш.

— Да на что ж тебе приемыш, коли у тебя свои родные дочери есть?

— Я взял его тогда, когда еще у меня детей не было.

— Вот что! ну, не погневайся, хозяин: навязал ты на себя лихую болезнь. Ведь этот пострел Тереша вовсе озорник. Да какой злющий!.. Помнишь, в Больших Мытищах мы остановились дать вздохнуть лошадям. Вы пошли чайку напиться, а я забежал на царское кружало винца хлебнуть. Что же, ты думаешь, этот рыжий без меня наделал? Возьми да и разнуздай потихоньку всех лошадей! Еще хорошо, что я спохватился, а то беда, да и только: кони у меня лихие — косточки бы живой не оставили. Вот я стал на него браниться, так он же, чертенок, лукнул в меня камнем да чуть-чуть глаз не вышиб.

— Да! — сказал со вздохом купец, — видно, по грехам наказал меня господь.

— И, хозяин! да что он, родной, что ль, тебе? На порог, да и в шею!

— Нет, друг сердечный; когда господь бог от меня, окаянного грешника, не вовсе еще отступился, так мне ли покинуть без призрения этого круглого сироту! Придется терпеть от него горе: что делать, любезный! видно, на это была воля божья, и если бы только господь помиловал жену мою и детей...

— Небось, хозяин, — перервал ямщик, — авось, все ладно будет. Бог милостив... Ну, вот теперь дорога пойдет скатертью; потешить, что ль, твою милость?

— Пожалуйста, любезный! Поспеешь в Москву к обедням, так я тебе рубль на водку дам.

— Спасибо, хозяин! Да крепка ли у тебя повозка-то? — сказал ямщик, подбирая вожжи. — Эй вы, други! Смотри, Федот Абрамыч, держись! — продолжал он, вытаскивая из-за пояса свой ременный кнут. — Ну, что стали?.. Ударю! Эй ты, Серко, замялся!.. Али ножки болят?

Удалой ямщик свистнул, гаркнул, и телега вихрем помчалась по широкой дороге. Тарасовка, Большие Мытищи, Ростокино, село Алексеевское с своим царским домом и зер-

кальными прудами замелькали мимо проезжих, и благовест еще не начинался в городе, когда ямщик, осадив с трудом свою лихую тройку, остановился близ креста у Троицкой заставы. К ним подошел, как будто нехотя, старый инвалид и, узнав, что купец едет из «благополучного» города Ярославля, без дальних расспросов отворил рогатку.

— Ну, счастлив ты, хозяин! — сказал ямщик, тронув лошадей. — Меня в прошлый раз от самых полудень продержали за рогаткою почитай вплоть до вечерен; расспросов-то сколько было!..

— А вот обоз, что перед нами идет, — сказал купец, — его вовсе не останавливали.

— Да, да! — подхватил ямщик, — что за притча такая?

— Видно, любезный, и караулить-то уж некому нашу матушку Москву.

— Что ты, хозяин! мало ли здесь всяких команд?! одних выборных да десятских тьматмущая. Нет, знать, в Москве-то полегче стало.

— Дай-то, господи! — произнес с глубоким вздохом купец.

Обоз, который ехал перед проезжими, вдруг стал торопливо сворачивать в сторону, и впереди раздался отвратительный сиповатый голос:

— Сворачивай проворней! господа едут.

В одну минуту вся середина улицы опустела, и купец увидел перед собою такой страшный поезд, что сердце его оледенело от ужаса. К заставе тянулся длинный ряд роспусков, нагруженных гробами; некоторые из них были так плохо сколочены, что, казалось, при каждом потрясении готовы были развалиться; иные были даже вовсе без крыш, и безобразные, едва прикрытые циновками трупы выглядывали из них на проходящих. Живые люди, которые окружали эту похоронную процессию, показались проезжему еще ужаснее самих мертвецов, не потому, что они были одеты какими-то пугалами, в воцаные балахоны и колпаки, но их пьяные, развратные физиономии, их зверские лица, их безумный хохот при виде проезжих, которые торопились сворачивать с дороги, — все придавало им вид настоящих демонов. Несколько поодаль шли гарнизонные солдаты с ружьями и



ехал полицейский чиновник верхом.

— О господи! — сказал купец, — что это за люди!.. В них нет и образа человеческого.

— Разве не видишь, хозяин, что они в кандалах? — прервал ямщик. — Это разбойники.

— Разбойники? — повторил робким голосом купец.

— Ну да. Сначала вывозили покойников за город казенные погонщики, да больно стали мереть, так теперь наряжают из острога колодников.

— Эй ты, хозяин! — закричал один каторжный, — почни кубышку-то, дай что-нибудь! Нечем помянуть покойников.

— Да полно, не скупись! — примолвил другой, — ведь завтра, может статься, и тебя туда же потащим.

Купец бросил им горсть мелких денег; все разбойники, как голодные собаки, кинулись подбирать медные гроши; один только колодник, аршин трех росту, не подражал их примеру. Он стоял неподвижно на своем месте и пристально смотрел на купца.

— Ну, что ты, Каланча, глаза-то выпустил! — закричал один из его товарищей, —

иль захотел плети отведать? ступай!

— Проезжай скорее, любезный, — шепнул купец, — на этих людей и глядеть-то страшно!

— Поживешь здесь денька два, так привыкнешь, — пробормотал ямщик, погоняя лошадей.

Они проехали от заставы до самой Сухаревой башни, не встретив ни одного прохожего. Мертвая тишина, изредка прерываемая глухими воплями, которые проникали сквозь стены домов; кой-где на церковных погостах окостенелые трупы нищих; заколоченные двери, окна с выбитыми стеклами и везде, почти на каждом шагу, красные кресты на воротах... За Сухаревой башней проезжие стали обгонять сначала людей, идущих поодиночке, потом целые толпы мужчин и женщин, и когда выехали к Никольским воротам, повернули налево мимо городской стены, то должны были беспрестанно останавливаться, чтобы не передавить народа.

— Смотри-ка, хозяин, — сказал ямщик, — как все православные бегут помолиться Боголюбской божией матери! Глядь-ка, глядь! Вон

там, у Варварских ворот!.. Ах ты, господи! эва народу-то! словно в котле кипят!

— Да что это? — сказал купец, прислушиваясь к каким-то невнятным звукам, которые, как отдаленные перекааты грома, раздавались посреди бесчисленной толпы народа, — это не походит на обыкновенный людской говор... Слышишь, как кричат?

— Слышу, Федот Абрамыч. В прошлый раз народу не меньше было, а так не шумели... уж не фабричные ли?

— Избави господи!..

— А вот постой, хозяин; подъедем ближе, так увидим.

Не доезжая шагов трехсот до Варварских ворот, проезжие должны были остановиться. Все пространство между городской стены и приходской церкви Всех святых было усыпано народом.

— Ну, делать нечего, — сказал купец, вылезая из телеги, — ступай назад; авось Ильинскими воротами проедешь на Варварку, а я уж как-нибудь добреду пешком до дому.

Ямщик поворотил лошадей, а купец смешался с народом и попеременно, то продира-

ясь медленно вперед, то быстро увлекаемый бегущими толпами, очутился в несколько минут у самых Варварских ворот. Прежде всего кинулся ему в глаза стоящий на высокой скамье небольшого роста человек с растрепанными волосами, запачканный, оборванный — одним словом, похожий на убежавшего из тюрьмы колодника; он кричал от времени до времени охриплым и протяжным голосом: «Порадейте, православные, богоматери на всемирную свечу». К образу Боголюбской божией матери, вделанному саженях в двух от земли в стену башни, приставлена была лестница; народ лез по ней беспрерывно вверх: одни прикладывались, другие ставили свечи; нижние цеплялись за верхних, стаскивали их вниз, падали сами; их топтали в ногах, давили; клятвы, крики, женский визг, стоны умирающих — все заглушалось общим ропотом народа, который волновался и шумел, как бурное море. Прислушиваясь к разговорам некоторых лиц, приезжий купец был поражен именем преосвященного Амвросия и намеками на опасность, угрожающую добродетельному пастырю. Он хотел узнать по-

дробнее в чем дело, расспрашивал многих; ответы были темны или заключались в общих угрозах, и он не стал обращать на них внимания.

Когда толпа начала редеть, купец снова пошел вперед. Миновав церковь Георгия Победоносца, он выбрался на простор; позади его кипели толпы народа, но впереди вся улица была пуста, и только кой-где из окон домов выглядывали украдкою жены богатых купцов, которые жили взаперти и не смели выходить на улицу. Вдруг купец, который шел скорыми шагами, остановился; он увидел вдали кровлю своего дома; сердце его сжалось, холодный пот выступил на бледном лице. До этой решительной минуты он не вовсе был несчастлив: он мог надеяться, мог думать: «У меня есть жена, у меня есть дети!» Но теперь... еще несколько шагов, еще полминуты — и, быть может, он давно уже один в целом мире; горький сирота, с седыми волосами, быть может, он станет искать и не найдет могилы, над которою мог бы поплакать.

— Милосердый боже! — прошептал бедный старик, — не мне просить тебя о мило-

сти; но чтоб искупить их жизнь, нашли на меня болезни, страдания, дозвожь мне живому лечь в могилу, и я стану прославлять твое милосердие!

В эту самую минуту оборванный и безобразный собою мальчишка, который бежал, оглядываясь беспрестанно назад, наткнулся на купца.

— Тереша! — вскричал он, схватив его за руку, — ты ли это?!

— Вестимо, я, — пробормотал мальчишка, стараясь вырваться.

— Да постой! куда ты бежишь?! Ну, что, скажи: все ли у нас здоровы? Что моя жена?.. Что дочери?

— А что им делается! — сказал мальчик, поглядывая с нетерпением вперед.

— Так они живы?

— А кто их знает!

— Да разве ты живешь не с ними?

— Вестимо, нет! мне колотушки-то надоели... да пусти меня!

— Возможно ли! — вскричал купец, — ты покинул мой дом?! Да как ты смел...

— А вот как! — сказал мальчик, высвобо-

див свою руку и пускаясь бегом к Варварским воротам.

— Он жив! — прошептал купец, глядя вслед за своим приемышем. — А быть может, этот ангел во плоти, жена моя, мои дети... О, скорей, скорей! — продолжал он, торопясь идти вперед. — Что будет, то будет; а лучше один конец!

И вот уж он подле своего дома; глядит, ставни заперты, двери с улицы заколочены досками, он спешит к воротам. — Праведный боже! На них красный крест!.. Но, кажется?.. Так точно: на дворе залаяла собака. Так дом не совсем еще покинут! Купец стучит в калитку; ответу нет; одна лишь собака, почуяв хозяина, лает пуце прежнего. Проходит несколько минут — все та же мертвая тишина. Вот в соседнем доме медленно отворилось окно, и человек с бледным, больным лицом сказал купцу:

— Не стучи, любезный; в этом доме никого нет.

— Никого? — повторил бедный старик прерывающимся голосом. — А хозяйка дома?

— Третий день как умерла.

— А ее дочери?

— Вчера последнюю отвезли на кладбище.

— Последнюю!! — прошептал купец.

Он прислонился к стене своего дома.

Несчастный не лишился памяти: он чувствовал, он понимал, что у него нет ни жены, ни детей. Есть горе, которое мы, бог знает почему, называем горем: оно не имеет и не может иметь имени на языке человеческом. Это чувство непродолжительно, как последний вздох умирающего, но полжизни непрерывных болезней, целый век страданий телесных ничто пред этой минутной смертью души. Старик-сирота молчал; в глазах его не было слез, в груди ни одного вдоха; он взглянул на небеса; они были ясны, чисты, но так же безответны, так же мертвы, как душа его. Ему казалось, что кто-то шептал над его ухом: «Не стучись и там, старик; и там тебе никто не откликнется». Безжизненные взоры купца остановились на притворе церкви, против которой он находился. Вдруг они вспыхнули.

— Итак, — вскричал он, заскрежетав зубами, — ни раскаяние, ни теплые молитвы, ни кровавые слезы мои — ничто не могло смяг-

чить тебя!

В эту минуту кто-то вышел из церкви: в ней служили молебен, и через растворенные двери слышались тихие голоса; на клиросе пели: «Царю небесный, утешителю души истинный!» Слова отчаяния замерли на устах купца, кроткое смирение, как благотворный дождь, пролилось в его душу, слезы брызнули из глаз, и он упал во прах пред карающей десницею своего господа.

Усердная молитва облегчила сердце несчастного. Он чувствовал всю великость своей потери; он мог сказать: «Прискорбна есть душа моя даже до смерти», но не роптал уж на того, кто дает и отнимает.

— Да будет твоя святая воля! — сказал он, устремив глаза на икону Спасителя, которая висела над притвором церкви, — твой праведный суд свершился надо мною. Ты видишь мои страдания!.. Господи, господи! примирился ль я с тобою?

Скоро нагрянула толпа людей, шедших от Варварских ворот, и он услышал снова имя Амвросия. Купец задрожал; он стал страшиться за безопасность почитаемого архипастыря,

которого знал лично.

С горестью в сердце должны мы упомянуть о происшествии, которого ужас не позволяет нам раскрывать все подробности.

Кроме бедствий, которые претерпела Москва в это время, ей суждено было еще прибавить черную страницу к своим летописям. Ужасное злодеяние совершилось в ее стенах: архиепископ Амвросий[23] пал, как известно, под ножом шайки гнусных злоумышленников. Накинем скорее завесу на это святотатственное событие, о котором московские старожилы доселе не могут вспомнить без содрогания, и скажем только, какое участие принимал в нем наш приезжий купец панского рода Федот Абрамович Сибиряков.

Удостоверившись в действительности замысла злодеев, этот несчастный человек решил спасти Амвросия. На другой день, 16 сентября, рано поутру он поскакал в Донской монастырь, где тогда жил архиерей. Он застал у ворот обители одного молодого послушника и келейника Амвросиева и требовал от них настоятельно, чтобы они убедили достойного пастыря тотчас уехать подальше

от Москвы. Преосвященный не успел еще выполнить его совета, как уже убийцы были у ворот монастыря. Он искал убежища в церкви. Злодеи вломились в храм, и тот самый приемыш Сибирякова, змея, воплощенная в человеческом теле, открыл его на хорах и указал разъяренным изуверам. Разбойники стащили преосвященного с хор. Один из них, в котором Сибиряков узнал фабричного, собиравшего у Варварских ворот деньги «на всемирную свечу», бесновался более других. Истощив все бранные слова, он заносил уже широкий нож над грудью жертвы. Сибиряков схватил его за руку и остановил удар.

— А этот что вступается? — заревели голова разбойников, — бейте его.

— Что вы, братцы?! — принужден был сказать купец, — ведь я с вами! Пригожее ли дело осквернять храм господен? Выведем его из монастыря, а там допросим, увидим...

— Правда, правда! — вскричали разбойники, — ведь он не уйдет!

Сибиряков надеялся, что он между тем успеет усювестить извергов, но все его усилия были тщетны. Амвросий погиб. Злоумышлен-

ники не избегли заслуженного наказания. Петр Дмитриевич Еропкин,[24] единственный тогда начальник в Москве, успел собрать несколько рот Великолуцкого полка, который стоял верстах в тридцати от города, и при помощи этой горсти солдат рассеял скопище и переловил зачинщиков. Вслед за этим прибыли в Москву главнокомандующий, граф Петр Семенович Салтыков,[25] гражданский губернатор Юшков и обер-полицеймейстер Бахметьев. Вскоре спокойствие было совершенно восстановлено и учреждена особая комиссия для произведения следствия об убиении архиепископа Амвросия. Великость преступления и собственная безопасность столицы требовали необычайных мер строгости; из числа участвовавших в убиении архиерея двое были повешены, а остальных, которых было весьма много, приговорили наказать, по жребью, десятого кнутом.

В конце сентября месяца в судебную палату, в которой заседала следственная комиссия, вошел чиновник пожилых лет; он был очень бледен и, казалось, с трудом передвигался.

гал ноги.

— А, это вы, Афанасий Кириллович! — вскричал председатель комиссии, привставая со своего места. — Милости просим! Что, как ваше здоровье?

— Слава богу! брожу понемножку, — отвечал Афанасий Кириллович, садясь наряду с другими членами комиссии за присутственный стол.

— А мы уж начинали беспокоиться, — сказал один из его товарищей, — с первого дня открытия комиссии вы занемогли, и вот третья неделя, как об вас не было ни слуху ни духу.

— Да, батюшка! чуть было не умер. Ну, что у вас делается?

— Я думаю, скоро все кончим, — сказал председатель. — Двое главных убийц приговорены уж к смертной казни, а сегодня те, которые также участвовали в преступлении, будут вынимать жеребья; из них десятый, по приговору комиссии, должен быть наказан, как уголовный преступник.

— Смотрите, господа, чтоб кто-нибудь не пострадал напрасно; вы знаете волю нашей

милосердой царицы: лучше десятерых виновных простить, чем одного невинного нака-
зать.

— О! что касается до этого, мы можем быть покойны! — прервал один из членов, старинный наш знакомый, Владимир Иванович Зарубкин. — Подсудимые добровольно и без всякого пристрастного допроса сознались в своем преступлении, выключая одного, который запирается; но все обстоятельства и показания очевидцев его уличают.

— Я прикажу прочесть вам список их имен, — сказал председатель. — Потрудитесь, Кондратий Прохорович, — продолжал он, обращаясь к секретарю.

Секретарь взял со стола лист исписанной бумаги и начал читать:

— Десяток первый: московский купец гостиной сотни Федот Авраамов Сибиряков...

— Что, что? — прервал Афанасий Кириллович. — Как ты его называешь?

— Федот Авраамов, то есть, в простонародье, Федот Абрамов Сибиряков.

— Этот богатый купец, который лет десять тому назад выехал в Москву из Иркутска?

— Точно так, ваше высочородие.

— Не может быть! — вскричал Афанасий Кириллович. — Это ошибка! Я знаю Сибирякова; он человек умный, набожный, достойный всякого уважения...

— И несмотря на то, — подхватил председатель, — он точно был в числе убийц покойного Амвросия.

— И сам признался в этом?

— Напротив, он стоит в том, что не виновен, но доказательства его преступления так очевидны...

— О, бога ради, не торопитесь! — перервал с жаром Афанасий Кириллович. — Я повторяю еще раз, это должна быть ошибка. Подумайте, господа, если впоследствии откроется, что он невинен...

— Позвольте доложить, ваше высочородие, — сказал секретарь, — вот показание полицейского чиновника Кочеткова, который, переодевшись фабричным, был вместе с разбойниками в монастырском соборе в то самое время, как архиерея стащили с хор. Он слышал своими ушами, как купец Сибиряков приказывал вывести преосвященного Амвро-

сия из церкви и казнить его за монастырскою оградою!

— Но если этот Кочетков не видал его никогда прежде и, обманутый сходством лица...

— Вот то-то и беда, Афанасий Кириллович, — сказал председатель, — полицейский чиновник, который на него донес, знает его лично и даже не раз хлеб-соль с ним важивал.

— Да это еще не все, ваше высокородие, — продолжал секретарь, — приемыш вышереченного купца Сибирякова добровольно и по чистой совести показал, что оный Сибиряков, выводя, при помощи своих клеветов, за монастырские ворота покойного архиепископа Амвросия, один из первых наложил на него свою святотатственную руку, а таковое уважительное и согласное показание двух очевидцев, по силе законов, обращается в явную и неоспоримую улику.

— Воля ваша, господа, — сказал Афанасий Кириллович, — я уверен в его невинности, и, несмотря на показания очевидцев, которые, впрочем, могут быть следствием личной вражды...

— Да об чем вы так хлопчете? — перервал председатель. — Пусть этот Сибиряков вынет свой жребий; быть может, ему посчастливится; а если нет, так успеем и тогда об этом поговорить. Прикажете ввести сюда купца Сибирякова, — продолжал он, обращаясь к секретарю.

Через минуту двери отворились, и знакомый нам купец вошел в присутствие.

— Федот Абрамович! — вскричал его защитник, — тебя ли я здесь вижу?!

— Здравствуйте, батюшка Афанасий Кириллович! — сказал купец, помолясь иконе и низко поклонившись своим судьям.

— Все обстоятельства тебя обвиняют, — продолжал Афанасий Кириллович, — но я не могу поверить, чтоб ты был в числе злоумышленников и убийц покойного архиерея.

— Дай бог вам много лет здравствовать! — сказал купец, и на болезненном лице его изобразилась унылая радость. — Вот первое слово утешения, которое я слышу с тех пор, как нахожусь в числе преступников.

— И твой приемщик, эта змея, которую ты отогрел на груди своей...

— Что делать, батюшка Афанасий Кириллович! И добрые дела грешника обращаются на главу его.

— Сибиряков! — сказал председатель, — подойди к присутственному столу. Ты должен вынуть сам свой жребий. Вот десять свернутых бумажек: одна только из них отмечена крестом; авось не она тебе попадетя.

Купец перекрестился и взял один из жеребьев; руки его дрожали; он хотел передать его секретарю.

— Нет! — сказал председатель, — разверни сам. Сибиряков развернул; вся кровь бросилась ему в лицо, которое почти в то же время снова покрылось смертною бледностью.

— С крестом, — сказал хладнокровно секретарь, взглянув на развернутую бумажку.

— Боже мой! — вскричал Афанасий Кириллович, вскочив со своего места и подойдя к Сибирякову. — Так точно!

— Господа судьи, — сказал купец дрожащим голосом, — мне нечего сказать в мое оправдание, я уж все переговорил, но повторяю еще раз, и бог видит, что говорю истину: я невинен.

Председатель подал знак, чтоб вывели купца из присутствия.

— Не теряй надежды, Федот Абрамович, — шепнул его заступник. — Бог милостив.

— Ну, теперь делать нечего, — сказал один из членов, — видно, ему на роду было написано...

— Послушайте, господа товарищи, — перервал Афанасий Кириллович, пробежав несколько бумаг, которые подал ему секретарь, — я готов положить руку на Евангелие и присягнуть, что он невинен. Вот его допросные пункты. Показание полицейского чиновника опровергается самым признанием купца: он не запирался, а с первого слова объявил, что точно подал совет злодеям, которые хотели убить архиерея в церкви, вывести его за монастырскую ограду. Но для чего он это сделал? Для того, чтоб дать время убийцам обраться и почувствовать всю гнусность их преступления. В его допросе видно также, что, в доказательство своей невинности, он ссылается на архиерейского келейника.

— Которого нигде не нашли, — заметил секретарь.

— Афанасий Кириллович, — сказал председатель, — мы все вас уважаем и охотно верим словам вашим; но вы не были свидетелем этого несчастного происшествия, а в уголовном деле показания очевидцев служат главным основанием для судебного приговора.

— Но все другие преступники сознались...

— А он не признается! Так что ж? Быть может, это доказывает только то, что он не способен даже и к раскаянию. И где была бы справедливость, если бы мы оправдали преступника, которого все уличает, потому только, что он не сознается в своем преступлении?

— Прошу вас об одном, — сказал, помолчав, Афанасий Кириллович, — позвольте его перевести в другой десяток, и пусть он еще один раз вынет жребий. Господа товарищи, — продолжал он, обращаясь ко всем членам, — ради меня, из уважения к дружбе, которую я имел всегда к этому несчастному, не откажите в моей просьбе!

— В самом деле, — сказал Владимир Иванович Зарубкин, — теперь я вспомнил, я слышал много хорошего об этом купце; он был ис-

тинный отец всех бедных.

— И я то же слышал, — прибавил председатель. — Конечно, это не дает нам права, вопреки всем доказательствам, признать его невинным, но если вы, господа, согласны, из уважения к просьбе почтенного нашего товарища, я прикажу перевести его в другой десяток. Пускай еще раз испытает свое счастье.

Члены комиссии, поговорив несколько минут между собою, согласились на предложение своего председателя, и купца ввели опять в судейскую.

— Сибиряков, — сказал председатель, — до твоего преступления ты вел себя как примерный гражданин, делал много добра, был честью всего московского купечества. Из уважения к прежнему твоему поведению и к просьбе благодетеля твоего, Афанасия Кирилловича, мы переводим тебя в другой десяток и дозволяем еще раз вынуть жребий.

Купец молча поклонился, медленно подошел к столу и взял из второго десятка одну из свернутых бумажек. Когда он стал ее развертывать, Афанасий Кириллович не усидел на своем месте; он подошел к Сибирякову и

спросил торопливо:

— Ну, что?

— Посмотрите сами, — сказал с горькой улыбкою купец, подавая ему жребий.

— Опять крест! — вскричал почти с отчаянием его защитник.

— Опять! — повторил председатель. — Ну, это несчастливо.

— Келейник покойного архиерея желает войти в присутствие, — сказал громким голосом присяжный, отворяя дверь.

— Введи его скорее! — закричал Афанасий Кириллович. — Ну, видишь ли, Федот Абрамович, сам бог посылает тебе защитника.

— Да! — прошептал купец, — теперь я вижу, как бог спасает грешника.

— Что тебе, любезный, надобно? — спросил председатель у келейника, когда он вошел в присутствие.

— Слава тебе, господи! — сказал он, увидев купца Сибирякова, — кажется, я поспел вовремя. Господа судьи, я келейник покойного архиепископа Амвросия; сегодня только возвратился в Москву из Воскресенского монастыря и услышал, что купец Сибиряков по ка-

кому-то ложному извету попал в число преступников, судимых за убиение нашего преосвященного владыки. Я не знаю, что на него доказывают, но объявляю здесь пред зеркалом и готов присягою подтвердить мое показание, что этот самый купец прибежал в Донской монастырь за несколько времени до прихода убийц, что он уведомил через меня его преосвященство об их богомерзком намерении, умолял нас оставить немедленно Донской монастырь, и если бы не вышло остановки в лошадях, покойный архиепископ, по милости этого доброго человека, остался бы в живых и управлял бы доселе своей духовной паствою.

— Ну, господа! — вскричал с радостью Афанасий Кириллович, — можете ль вы теперь сомневаться в его невинности? Нельзя же в одно время и желать спасти, и быть убийцею одного и того же человека!

— Да! — сказал председатель, — это показание совершенно его оправдывает.

— И если бы нашелся еще другой свидетель, — прибавил секретарь.

— Я могу вам его представить, — прервал

келейник. — Когда этот купец объявил мне об угрожающей нам опасности, я был вместе с одним из послушников Донского монастыря; теперь он не мог прийти со мною, потому что больно избит злодеями и вчера только в первый раз встал с постели.

— Ну вот, любезный друг! — вскричал Афанасий Кириллович, — не говорил ли я тебе — бог милостив, не теряй надежды? Видишь ли теперь, как милосерд и справедлив суд божий?

— Вижу, — прошептал купец, но лицо его, то бледное, то покрытое багровыми пятнами, выражало не радость, а внутреннюю тяжкую борьбу.

— Господин Сибиряков! — сказал председатель, — я не сомневаюсь, ты будешь оправдан, но судебный порядок не позволяет мне сейчас освободить тебя из-под ареста.

— Я беру его на поруки, — перервал Афанасий Кириллович.

— Так и дело с концом. Поздравляю тебя, Федот Абрамович! ты свободен.

— Свободен! — повторил купец, и глаза его заблестали необычайным огнем. — Да! я ско-

ро буду свободен... Господа судьи: я преступник.

— Что ты, что ты?! — вскричал Афанасий Кириллович.

Все присутствующие молча взглянули дружно на друга.

— Возможно ли? — сказал с удивлением председатель. — Ты сам сознаешься, что был в числе убийц покойного Амвросия?

— Нет, — отвечал Сибиряков, — этого тяжкого греха я не прибавил к прочим; священная кровь его не восстанет против меня в страшный час суда божия; я желал не погубить, а спасти его. Но эти преступные руки не раз обагрились в крови христианской, и суд божий должен свершиться надо мною... Безумный! — продолжал купец, не обращая внимания на удивление всех присутствующих, — я думал, что, избегнув наказания земного, могу примириться с богом и моею совестью. Несколько дней назад у меня была добрая жена, милые дети: бог взял их к себе. Он видел мое сердце. Он слышал мои стоны и не простил меня! Сирота, призренный и вскормленный мною, оклеветал меня; зло было мне

наградой за добро, но я не сетовал на неисповедимые судьбы божии и молча покорился его воле; а совесть, совесть, как голодный коршун, продолжала терзать мое сердце!.. Ни раскаяние, ни молитва, ни слезы — ничто не облегчало его. Меня осудили как преступника; я не роптал, а сказал из глубины души: «Да будет его святая воля!» И все тот же тяжелый камень лежал на груди моей. Нет, нет!.. Пора его сбросить, пора вздохнуть свободно. Господа судьи, я преступник!

— Да в чем же ты себя обвиняешь? — спросил старинный наш знакомец Зарубкин.

— Владимир Иванович, — сказал купец, — посмотрите на меня хорошенько! Я узнал вас с первого взгляда: двадцать лет почти совсем вас не изменили, — и не диво! сон ваш был спокоен, вас не терзала совесть, не мучило позднее и бесплодное раскаяние; на вас не гневался господь...

— Но кто же ты? — спросил Владимир Иванович.

— Кузьма Роцин! — отвечал тихим, но твердым голосом купец.

КОММЕНТАРИИ

Впервые: Библиотека для чтения, 1836, т. XVI. Печатается по изд.: Повести Михаила Загоскина, ч. 2. М., 1837.

О затруднениях, вызванных публикацией «Кузьмы Рощина», писал Загоскину (вероятно, преувеличивая) редактор «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковский: «...я спас вашего „Рощина“... *вся вторая часть „Рощина“* была обречена ценсурю запрещению. Без второй части первая не могла быть напечатана, и сочинение, все, пропадало. Давай я торговаться с этими господами. Некоторые места отстоял; пропустили; но все-таки весь конец хотят отрезать, потому что это описание бунта. Я сделал им такое предложение: пропустите ли вы вторую часть, если в ней не будет даже слова *бунт, мятеж* и т. п.? После долгих колебаний согласились пропустить с этим условием. Режьте же все места, которые вам не нравятся. Они и сделали это. Статья возвратилась ко мне в ужасном состоянии: я провел целые сутки над склеиванием остальных обломков, так, чтобы они представляли

правильный, логический рассказ. Опять в цензуру. Мы возились таким образом целую неделю, споря до слез за каждое выражение, за каждое обстоятельство. Уже несколько раз, с досады в этой мучительной борьбе с ценсорским упрямством, я хотел приказать разослать набор и решился не печатать вашей были: до того они мне надоели своими щепетильными придирками! Наконец, я победил все трудности, и статья вышла в том виде, как вы ее читали» (Письмо от 1 июля 1836 г. — Русская старина, 1902, т. 111, с. 91).

Примечания

...одного уездного города... — Город Касимов, с середины XV в. до 1681 г. центр Касимовского царства; выделялся московскими князьями татарским «царям» и «царевичам», переходившим на русскую службу.

[^^^]

2

comfortable — удобный, комфортабельный
(англ.).

[^^^]

Лафатер Иоганн-Каспар (1741 — 1801) — швейцарский писатель, автор трактата «Физиогномические фрагменты» (1775 — 1778), в котором излагалось учение о выявлении черт характера человека по его лицу.

[^^^]

...в большом экономическом селении... — Экономическими (государственными, казенными) назывались крестьяне, жившие на землях, переведенных из ведения монастырей и церквей в ведение государства. У Загоскина анахронизм: действие первой главы повести происходит около 1760 г., а указ о секуляризации монастырских и церковных сел и передаче их государству вышел в 1764 г.

[^^^]

...война с пруссаком... — Имеется в виду начало Семилетней войны в 1757 г.

[^^^]

6

...то за другую шашку... — Шашка — здесь:
шахматная фигура.

[^^^]

...вашего царя конем. — Царь — здесь: шахматный король.

[^^^]

...близь Макарья... — Имеется в виду уездный город Макарьев на Волге, знаменитый своими ярмарками.

[^^^]

...не Полкан же богатырь какой. — Полкан-богатырь — герой лубочной сказки о Бове-королевиче; Полкан — русское переосмысление имени Pulican, героя итальянского романа, попавшего в Россию в XVI—XVII вв., распространявшегося в списках и перешедшего затем в лубочные издания.

[^^^]

Чающие движения воды — ищущие исцеления в церкви; фразеологизм, восходящий к Евангелию от Иоанна, где говорится о купальне, к которой стремилось «множество больных, слепых, хромых, иссохших». В эту купальню по временам сходил ангел и «возмущал воду; и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью».

[^^^]

Сарынь на кичку! — призывный клич волжских разбойников. Сарынь — толпа, сброд, бурлаки. Кичка — здесь: нос судна.

[^^^]

...его хотели было отчитывать. — То есть исцелять чтением Евангелий или молитв.

[^^^]

...этого краснбая Тредьяковскогo? — Тредиаковский Василий Кириллович (1703 — 1768) — поэт и теоретик поэзии, в XVIII в. имел репутацию плодовитого, но бездарного писателя.

[^^^]

«Аргенида» (СПб., 1751) — перевод Тредиаковским романа английского писателя Д. Барк-лая (1582 — 1621).

[^^^]

...да и ну на фандарах... — Далее пародируется стиль Тредиаковского.

[^^^]

«Езда на остров Любви» — «Езда в остров Любви». (СПб., 1730) — перевод Тредиаковским романа французского писателя Поля Тальмана (1642 — 1712).

[^^^]

Великий годовой праздник — Пасха.

[^^^]

Велико дело — ваше высокородие; нам и превосходительные кланяются. — *Высокородие* — почетный титул дворян 5-го класса (Ильменев — бригадир). *Превосходительство* — почетный титул дворян 3-го и 4-го классов.

[^^^]

«Приидите ко мне вси труждающие и обремененнии, и аз упокою вы» — цитата из Евангелия от Матфея.

[^^^]

Тысяча семьсот семьдесят первый год памятен... — С весны 1771 по январь 1772 г. в Москве была эпидемия чумы, во время которой начались народные волнения; восставшие заняли Кремль, убили главу московской церкви Амвросия.

[^^^]

...те, которые в них жили, зажгли их собственною своею рукою... — В 1810—1820-е гг. выдвигалось несколько причин московского пожара. По свежим следам — в конце 1812 и в 1813 г. виновниками пожара русские объявили французов и Наполеона: «...неистовые солдаты его, офицеры и даже генералы пошли по домам грабить. К дополнению сего злодейства назначили дни и часы, в которые зажигать улицы и предместья московские» (Наполеон и французы в Москве, с подробным описанием всех достопамятных и незабвенных для России происшествий нынешней войны... М., 1813. с. 110; см. также: Глас истины. СПб., 1812, примеч.). Французы, в свою очередь, обвиняли в сожжении Москвы русских «поджигателей» и военного губернатора Москвы Ростопчина: «Показания полицейских солдат, признания полицейского офицера, которого задержали в день нашего вступления в Москву, — все доказывало, что пожар был подготовлен и осуществлен по приказу графа Ростопчина» (Коленкур де Арман. Поход Напо-

леона в Россию. М. — Л., 1943, с. 151). Ростопчин отрицал свою причастность к пожару, но не отрицал того, что жители Москвы зажигали свои дома: «Главная черта русского характера есть некорыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивая ссору сими словами: *не доставайся же никому*» (Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823, с. 20). К концу 1820-х гг. версия о сожжении Москвы русскими утверждалась уже с гордостью: «...пожар Московский произведен был русскими. И будем ли мы отрекаться от того, что составляет нашу славу и что, как сам Наполеон после признавался, всего более способствовало к его гибели?» (Историческое известие о пожаре Московском 1812 года.— Московский телеграф, 1828, ч. XXIV, № 24, с. 388). Этой точки зрения придерживается и Загоскин. Вместе с тем уже в конце 1810-х гг. высказывалось мнение о самозарождении пожара в Москве: «Вообще пожары суть зло, которое и без особых больших причин если не всегда, то весьма часто нераздельно сопряжено с войною» (Ахшарумов Д. И. Описание войны 1812 года. СПб., 1819, с. 140).

[^^^]

...совершенное безначалие... — Московский главнокомандующий П. С. Салтыков уехал из Москвы во время эпидемии.

[^^^]

Амвросий (Зертис-Каменский Андрей Степанович; 1708 — 1771), архиепископ московский с 1768 г.; убит во время Чумного бунта 16 сентября 1771 г. в Донском монастыре.

[^^^]

Ерошкин Петр Дмитриевич (1724 — 1805) — осуществлял правительственные мероприятия по борьбе с чумой в 1771 г.

[^^^]

Салтыков Петр Семенович (1696 — 1772/1773) — генерал-фельдмаршал (с 1759 г.), главнокомандующий русской армией в Семилетнюю войну (1759 — 1760), московский генерал-губернатор (1764 — 1771); во время эпидемии уехал в свое имение.

Юшков Иван Иванович (ум. в 1781) — московский гражданский губернатор.

[^^^]